

Сергей Фудель У стен Церкви



«У стен Церкви»: Русский путь; Москва; 2009
ISBN ISBN 978-5-85887-322-8

Аннотация

В жизни каждого православного человека обязательно была книга, статья, выписка, конспект, глубоко повлиявшие на его жизненный выбор, на серьезный, решительный шаг идти по жизни за Христом, невзирая ни на человеческое мнение, ни на жизненные обстоятельства, ни на всю при трудность пути. Для многих такой путеводной звездочкой стала работа С.И. Фуделя «У стен Церкви», впервые опубликованная в самиздатовском сборнике «Надежда», издававшемся под редакцией З.А. Крахмальниковой. Мы публикуем ее с небольшими сокращениями в надежде на то, что эти теплые невыдуманные слова помогут многим нашим современникам обрести тот духовный свет, который так трудно разглядеть новонаначальному христианину в современной церковной действительности.

У стен Церкви

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это и воспоминания, и размышления.

Жизнь определенно кончается, а в душе еще много невысказанного. Вспоминаются слова:

*Мы вериги носим на теле
Нерассказанных этих лет.*

Сил на что-то цельное и большое у меня совсем нет, а поэтому решил записать то, что успею, в надежде, что и это может кому-нибудь пригодиться.

Совсем особенное чувство нетленной жизни испытывает человек, когда сознает себя стоящим около действительной святости Церкви. Это длится недолго, а человек в эти минуты еще не знает наперед, – находится ли он сам в этой Святости, т.е. в Святой Церкви, на какой-то блаженный миг он чувствует, что стоит около ее пречистых стен.

Ибо наше бытие в Церкви – это не право наше, а всегда Чудо и Нечаянная Радость.

Церковь есть тайна преодоления одиночества. Это преодоление должно ощущаться совершенно реально, так что, когда ты стоишь в храме, то тогда только истинно приходишь к стенам Церкви Божией, когда луч любви робко, но и внятно начал растапливать лед одиночества, и ты уже не замечаешь того, что только что воздвигало вокруг тебя колючую проволоку: ни неверия священника, воображаемого тобой только или действительного, ни злости «уставных старух», ни дикого любопытства двух случайно зашедших парней, ни коммерческих переговоров за свечным ящиком. Через все это ты идешь к слепой душе людей, к человеку, который, может быть, через минуту услышит лучшее, чем ты, – голос Человека и Бога: Иисуса Христа.

*

Старец архимандрит Серафим (Батюгов) провел в затворе – не в монастыре, а в миру – примерно 12 лет, главным образом, в Загорске, где и умер 19 февраля 1942 г. В затвор он ушел по послушанию. Он был в Дивеево у блаженной Марьи Ивановны, рассказывал ей о своей работе на приходе (в церкви Кира и Иоанна в Москве), работе, очень его вдохновляющей, а она его прервала и говорит: «Иди в затвор». Он еще раз попытался привести какие-то разумные доводы против такого решения, но она в третий раз сказала ему то же.

«И тогда, – рассказывал он мне, – я ей сказал: «Благословите, матушка». В затворе он пробыл до самой смерти. Так простая, так сказать, женщина, не имевшая никаких иерархических прав, имевшая только личную святость, решила судьбу архимандрита. Обычные нормы отношений, наблюдаемые на поверхности Церкви, как-то изменяются на ее глубине. Епископы, духовные дети простого иеромонаха, о. Алексея Зосимовского, помню, кланялись ему в ноги при свидании. У праведников иные законы.

Старец Серафим рассказывал мне как-то раз один случай из его практики, говорящий о том же. Главным по сану в его храме был одно время епископ. Однажды возник спор по важному духовному вопросу. С мнением о. Серафима епископ был не согласен, и о. Серафим находился в большом смущении, не зная, как поступать. Это продолжалось до тех пор, пока его мнение не подтвердил о. Нектарий Оптинский, и тогда о. Серафим как настоятель поступил вопреки мнению епископа. Слово простого Оптинского иеромонаха решило вопрос. В иерархическом культе Рима это было бы немислимо.

Помню серебро длинных волос на плечах о. Серафима, а сам он в синей толстовке и брюках, без подрясника, этим народ смущает, а, может быть, испытывает меня: «Вот вы так снисходительны, – говорит он, – не обращайтесь внимания на мой костюм». – «Батюшка, – восклицаю я совершенно искренно, – какое же это может иметь значение?» Он молчит, но я вижу, что он доволен: значит, нет преграды между его теплой заботой о моей жизни и мной, ничего внешнее этому не мешает.

Около тепла святой души тает лед сердца. Мне трудно в каком-то смысле, быть рядом со старцем, и в то же время, около него я снова, словно в материнском лоне. Может быть, и в лоне младенцы не всегда чувствуют себя уютно. Бесконечность человеческой заботы о всяком, кто к нему подходит, или кто нуждается в духовной помощи, в сочетании с уже не человеческой, но сверхчеловеческой силой, много духовного зрения, – вот как можно было бы приблизительно определить обаяние всякого истинного старца.

Помню, я переписывал одно его письмо к какой-то духовной дочери по его поручению, и оно начиналось так: «Чадо мое любимое». Вот он стоит в подряснике, опоясанный кожаным поясом, в полумантии, – со всеми нами на молитве. Иногда крестит кого-то в пространстве пред собой – какого-то отсутствующего своего духовного ребенка. Иногда

останавливает чтеца и начинает читать сам, но на середине псалма или молитвы вдруг замолкает, так глубоко вздыхая, что дыхание наполняет комнату. И мы молчим и ждем, зная, что его молитва именно сейчас не молчит, но кричит Богу. Или бывает так: он начинает читать молитву обычным голосом, размеренно, «установно», но вдруг голос срывается, делается напряженным, глаза наполняются слезами, и так продолжается иногда несколько минут. Обычно для нас колея уставного молитвенного строя при нем иногда явно нарушалась. С ним могло быть, так сказать, неудобно молиться, так же «неудобно», как не умеющим плавать идти за умеющим в глубокую воду. О. Владимир (Криволуцкий) однажды выразил ему свое смущение и осуждение. Он промолчал – и не изменился. И я думаю, что еще в большем неудобстве мы бы почувствовали себя на апостольском богослужении, когда простые миряне получали откровения, говорили на незнакомых языках и пророчествовали. Для нас такое богослужение – только предмет исторического интереса, а для святых оно, очевидно, есть реальная возможность. Отец Серафим с большим уважением относился к уставу, считал, что нарушение его по дерзости или небрежности губительно («вне Устава, – как–то сказал он мне – когти дьявола»), но сам в своем служении входил фактически в какую–то иную эпоху Церкви, которая, наверное, во многом будет походить на первохристианскую.

Молиться без икон трудно. Икона собирает в себе внимание молитвы, как увеличительное стекло собирает в себе рассеянные лучи в одно обжигающее пятно. Икона – учили отцы – есть утверждение реальности человеческой плоти Христовой, и, кто отвергает икону, тот не верит в реальность Боговоплощения. т.е. человеческой природы Богочеловека.

Христианство не умирает при умирании иконы как исторического факта. Догмат об иконе имеет вечный смысл, отразив вечную правду реальности вочеловечения Бога. Но самих икон может и не быть. Я помню, как люди молились в тюрьме, стоя перед пустой стеной. В тюрьме молиться и трудно, и легко. Трудно потому, что сначала вся камера уставится тебе в спину, и все, что у многих на уме («ханжа» или еще что–нибудь), будет на уме у тебя. Легко потому, что, когда преодолеваешь это «назирание», то правда, что стоишь несколько минут у «врат Царства». В тюрьме *«Господь близ есть, при дверех»*. А насколько это противоречит установившемуся в веках понятию «православный», стало однажды мне ясно.

Был там в камере старый «белый» офицер, воевавший когда–то на бронепоезде у Врангеля, совсем русский. После одной такой молитвы у пустой стены он спросил: «Вы что, сектант?». И стало понятно, что без иконы можно молиться, если ее нет, а вот без смирения, т.е. с осуждением, например, вот этого человека – нельзя.

Но икона – святыня, святая память о Боге. Старец Серафим (Батюгов) как–то рассказывал: «Когда я еще служил у Кира и Иоанна, позвала меня одна прихожанка отслужить на дому молебен. Окончив молебен, я взял святую воду и пошел окропить комнаты и вещи. Подошел к какому–то шкафу, она открыла мне для окропления дверцы, и вдруг меня охватило необычайное волнение, точно передо мной открылась дверь во что–то святое, священное. Я кроплю, ничего не понимаю и только радостно трепещу перед чем–то. И вот – можете себе представить! – спустя много времени в этот самый шкаф была поставлена, в связи с закрытием нашего храма, большая икона святых мучеников Кира и Иоанна, и пребывала она там многие трудные годы».

Помню я, как в начале 30-х годов закрывали и наш храм на Арбате, там, где теперь «Диетический магазин». Дня за два об этом как-то узналось и я пришел проститься. Храм стоял уже без службы и был пуст. Я ходил и целовал иконы, как живых людей. Я недавно вспомнил об этом, глядя на икону Спасителя, и снова ощутил уход из мира иконы Христовой. Из мира уходит лик Христа – и в буквальном, и вот в этом «иконном» смысле. В этом есть нестерпимая скорбь.

Святость человека есть его благодатность, наполненность его благодатью Божией. Мы плохо понимаем, что такое благодатность, и потому нет понятия более далекого и загадочного для современной церковности, чем понятие святости. Реальная, т. е. несимволическая святость уже давно заменяется в церкви ее словесными знаками – титулами. Это один из признаков отвердения христианства в истории: Церковь болеет и на Востоке, и на Западе тяжелой и давней болезнью обмирщения. И, в то же самое время, мы знаем, что, несмотря на эту болезнь, Церковь живет, как Святая. Святость ее не только в святыне таинств, но и в реальной святости ее, может быть, неведомых миру праведников, в любящей вере простых сердец. О. Николай Голубцов настойчиво говорил: «Записывайте все, что знаете, о современных святых».

Солоухин ищет «черные доски» икон, чтобы под чернотой открыть красоту. Мы ничего специально не ищем, но Бог посылает встречи с живыми иконами: людьми Божиими.

Болезнь Церкви во всех нас. Когда искренно осознаешь себя самого в этой больной части церковного общества, тогда не боишься вслед за Великими Отцами Церкви признать самый факт болезни, и в то же самое время, почему-то только тогда начинаешь в радости сердца ощущать непобедимую церковную Святыню.

Митрополит Антоний (Блюм) говорит: *«У Церкви есть аспект славный и аспект трагический. Убогий аспект Церкви – это каждый из нас... Мы уже в Церкви и мы еще на пути к ней».* (ЖМП, 1967, № 9).

*

Одна женщина решила покончить с собой, и, когда с этой целью пошла в лес, увидела сидящего на пне старичка. «А ведь ты нехорошо задумала», – сказал он, когда она проходила. Пораженная, она вошла в разговор, уже как бы забывая о том, с какой целью она сюда пришла. И разговор кончился тем, что старичок сказал: «Иди в Церковь, к отцу Алексею Мечеву, и скажи, что тебя к нему послал убогий Серафим».

О. Алексея я увидел впервые, кажется, в начале 1918 года. Это было многолюдное собрание московских священников, которые, как мне казалось, были все совершенно одинаковые. И вдруг я сразу спросил своего отца: «А это кто?» Я увидел маленькую фигуру, быструю походку и такие веселые и всевидящие глаза. «Это замечательный священник, это наш духовник», – ответил мне отец.

Преподобного Серафима видел в лесу под Москвой (в Лобне) и отец Серафим (Батюгов) в 20-х годах.

Отец Сергей (Успенский) (от «Неопалимой Купины») говорил мне в 34–35 году в Вологде об аскетическом периоде своего брака как о периоде его полного расцвета и завершения: на земле брачного воздержания открылась глубина дружбы между ним и женой. В первохристианстве такие браки были часты, но они не умирали и в эпоху внешнего благополучия и внутреннего оскудения Церкви. В 30–х годах XIX века о них, как о существующих в России, говорит в своих письмах Георгий Затворник Задонский, бывший духовным руководителем многих девушек и женщин образцового круга. Существуют ли такие браки в наши дни? О. Серафим (Батюгов) говорил, что на этот великий подвиг можно идти только по особому благословию старца, т. е. истинно – духовного руководителя.

Под Воронежем недавно умерла слепая манатейная монахиня Смарагда. Она – я знаю – совершала ежедневно по несколько тысяч молитв Иисусовых. Но не об этом, и не о прозорливости ее хочу я рассказать.

В городке, где жила Смарагда, ходила нищая, или, как там говорили, «побирушка», молодая гулящая женщина. Смарагда, жившая в небольшой келье еще с одной монахиней, приютила ее у себя. Она прожила у них года два и, оставив им вшей и беспорядок, ушла. Через сколько–то времени обе монахини идут по площади и видят, что гуляка, опять, очевидно, в полном безденежье и бездомье, сидит на земле с новорожденным младенцем. И вот Смарагда, наверно, вздохнув о тишине и чистоте своей кельи, говорит другой монахине: «Дашка, иль мы не христиане! Ведь надо ее опять брать!» И ее взяли, конечно, с ребенком.

В Ярославле, уже после этой войны умер епископ Тихон, сын члена ЦК партии Народной Воли Льва Тихомирова, одного из тех, кто решал в 1881 году судьбу императора Александра II. Епископ Тихон прожил в этом городе последние 15 лет в затворе, в бедности, в крошечной комнате. Он выходил из дома только раз в несколько лет: на выборы в советские органы. Во время войны однажды я долго ждал в кухне окончания его одинокой молитвы, чтобы повидаться. Он нес подвиг молитвы совершенно один.

Когда он умирал, он сказал: «*Я пойду домой*». Я вспоминаю, что над столиком, за которым он меня угощал чаем, висели фотографии всех его близких и родных и родного дома в Загорске. По распоряжению патриарха отпевание его совершал местный архиерей, сказавший громадной толпе собравшихся: «Вот мы жили с вами в этом городе и не знали, какой светильник хранится в нем под спудом».

Может быть, кто–нибудь спросит, зачем затвор? Любовь к людям не отрицает пустыни и, может быть, каждому человеку необходима хоть маленькая пустыня для укрепления любви. «*Пустыня внемлет Богу*», – сказал поэт. – «*И звезда с звездой говорит*». В начале войны у нас жил о. Владимир Криволицкий. Весь день он был на людях, среди нас: мирил, спорил, радовался, ужасался. И, только ложась спать, он брал в руки дивеевские четки, закрывался с головой одеялом. Очевидно, и он, наконец, уходил «во внутреннюю пустыню».

В пустыне видней вечность, а еп. Игнатий (Брянчанинов) говорил, что нам надо «*всмотреться в вечность, прежде вступления в ее неизмеримые области*».

Умирала одна праведная деревенская старуха и все просила дочь поехать за священником, чтобы причаститься. Но до церкви было очень далеко, стояла глухая зима, и дочь не ехала. И вот однажды ночью умирающая сказала внучке, девочке лет шести: «Дай попить». И, когда подали ковшик, то услышали пение: «*Тело Христово примите*».

Отец Серафим (Батюгов) говорил: «Если негде будет вам причаститься, а вы будете

чувствовать неотложность причащения, прочтите все положенное перед причащением «правило» и после этого отдайте себя на волю и усмотрение Божие».

В зырянскую ссылку 1923 года с первыми пароходами было доставлено сразу очень много епископов. С одним из них добровольно приехали его келейник–монах и еще один «вольный», юноша лет 20–ти, сразу обративший на себя наше внимание. Он нес подвиг молчания: ни с кем ни о чем никогда не говорил, а, когда это было нужно, объяснялся знаками. Он был духовный сын этого епископа, и незадолго пред этим окончил среднюю школу. Я помню его хорошие и тоже с какой–то веселостью, как у отца Алексея Мечева, глаза. Ходил он босой, в длинной холщовой рубахе без пояса. Один раз он у меня ночевал. Я все ждал, что вот вечером он встанет на долгую молитву, да еще, может быть, «стуча веригами», как в «Детстве и Отрочестве», а он вместо этого знаком спросил меня о чем–то, улыбнулся, перекрестился и лег. И на следующий день он меня удивил. Он сидел на сундуке около двери, и, зная что он там будет сидеть, я заранее положил туда стопку книг: «Подвижники благочестия XVIII и XIX веков». Вот, – думал я по глупости, – он обрадуется». А он открыл книгу, начал было читать, но тут же закрыл и больше не прикасался.

Мы говорим, пишем, читаем о подвиге, а подвижники молчат и его совершают.

Один Валаамский иеромонах (Спиридон) учил в лагере так видоизменять молитву Иисусову для нашего времени, особо нуждающегося в молении и в заступлении Богородицы: *«Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею помилуй нас».*

Нас – погибающих.

Из его разговора о молитве еще я помню, как он говорил: «Не надо думать, что для непрестанной молитвы годится только молитва Иисусова. Апостол Павел сказал: **«Всяким молением и прошением молитесь на всякое время духом».** Об этом же учит и еп. Феофан Затворник.

В 20–х годах в одном подмосковном храме кончилась литургия. Все шло, как обычно, и священник сделал завершающее благословение. После этого он вышел к народу на амвон и начал разоблачаться. В наступившей тяжелой тишине он сказал: «Я двадцать лет вас обманывал и теперь снимаю эти одежды». В толпе поднялся крик, шум, плач. Люди были потрясены и оскорблены: «Зачем же он служил хотя бы сегодня». Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы вдруг на амвон не взошел какой–то юноша и сказал: «Что вы волнуетесь и плачете! Ведь это всегда было. Вспомните, что еще на Тайной Вечери сидел Иуда». И эти слова, напомнившие о существовании в истории темного двойника Церкви, как–то многих успокаивали или что–то объясняли. И, присутствуя на Вечери Иуда не нарушил Таинства.

Эти слова многое объясняют, но они не снимают с нас ни скорби, ни страха.

Один подмосковный протоиерей мне рассказывал: «Совершаю литургию. Направо от меня два неслужащих сегодня священника, один из них настоятель, налево – дьякон с членом двадцатки. Направо – передача какого–то анекдота, налево – спор о церковном ремонте. Приблизилось «Тебе поем», и я не выдержал: «Отцы! Да помолчите же, я так не могу!»

Можно было бы привести повсеместные тяжелые факты – или явного греха, или неверия, или равнодушия и формализма в среде духовенства. Ведь все это происходит не в какие–то далекие времена «Бурсы» Помяловского, а в те самые годы, когда руководство Русской Церкви так смело говорит о ее духовном благополучии.

Рядом с никогда не умирающей жизнью Христовой Церкви, в церковной ограде всегда жило зло, и на это надо иметь открытые глаза, надо всегда знать, что «рука предающего

Меня со Мною на трапезе». Иоанн Златоуст не боялся осознать и говорить о духовной болезни своей местной Церкви. Иоанн Кронштадтский говорил: «Не узнав духа убивающего, не узнаешь Духа Животворящего. Только по причине прямых противоположностей Добра и Зла, жизни и смерти, мы узнаем ясно и ту, и другую».

А для Церкви теперь такое время, когда особенно важно, чтобы зрение христиан было ясное, чтобы они могли «узнать и ту, и другую».

О. Валентин Свенцицкий, с одной стороны, был как бы обычный семейный священник, с другой, опытный учитель непрестанной молитвы. Это поразительный факт, что еще в 1925 году, в центре Москвы этот человек вел в приходских храмах свою горячую проповедь великого молитвенного подвига. Он много сделал и для общей апологии веры, но главное его значение в этом призыве всех на непрестанную молитву, на непрестанное горение духа.

«Молитва, – говорил он, – воздвигает стены вокруг нашего монастыря в миру».

Он же выразил в краткой формуле разрешение всей сложности вопроса о внутреннем церковном зле. *«Всякий грех в Церкви, – сказал он, – есть грех не Церкви, но против Церкви».* Отсюда понятно, что церковный раскол по мотивам упадка нравственности, уже не говоря о других мотивах, есть прежде всего религиозная глупость, недомыслие. Все искаженное, нечистое, неправильное, что мы видим в церковной ограде, не есть Церковь, и для того, чтобы не иметь с этим общения, совсем не надо выходить за ее ограду, нужно только самому в этом не участвовать. И тогда будут исполняться слова: *«Для чистого – все чисто».*

Церковный раскол есть не только глупость, но и гордость. Первый значительный раскол (монтанизм¹ во II веке), утверждал, что откровение Святого Духа, имеющееся у Церкви, недостаточное, а вот теперь мы (монтанисты) ждем его полноты. Значит, у них был не просто дисциплинарный раскол в целях усиления внутрицерковной чистоты и дисциплины: в постах, в браке, в принятии падших, – но и отрицание духовности Церкви, с приписыванием этого состояния только себе. По существу, так же мыслят и наши старообрядцы. Что касается нравственного критерия как повода к расколу, то недопустимо из мистического факта делать рационалистический, административный вывод: по каким–то внешним признакам расслаивать верующих на «святых» и «не святых», кои подлежат извержению. Кто видит в нас наши внутренние пороки: гордость, злобу, лицемерие, неверие, холод? Где тот критерий святости, который был бы нам дан столь явно, что мы могли бы совершать им некий нравственно–химический анализ?

Только Святая Церковь есть Церковь, но бытие Святой Церкви есть тайна, нам не вполне открытая: нашими глазами не может быть явно зримо Тело Христово, мы могли утверждать, что для того, чтобы быть в Церкви, надо быть в истине, в Святыне Божией, но кто именно в данный момент состоит и кто не состоит в ней, – мы не знаем. Поэтому Господь и сказал: **«Не выдергивайте на поле плевел, чтобы вместе с ними не выдергивать пшеницу».** Это надо понимать, прежде всего в том смысле, что сейчас я, и ты, или она – плевелы, а через час и я, и ты и она может стать пшеницей, или, как сказал св. Ириней Лионский, *«человек сам для себя есть причина того, что он делается иногда пшеницей, иногда соломою».* («Против ересей», кн. 4, гл. 4).

¹ **Монтанизм** – религиозная христианская секта, возникшая во II веке; основатель ее бывший языческий жрец Монтан из Фригии, выдавал себя за Параклета (Духа-Утешителя, обещанного И. Христом) и проповедовал живое общение с Божеством помимо иерархии и обрядов; М. осужден на первом вселенском соборе в Никее (325).

Входит девушка в храм без косынки, или стоит в храме, ничего еще не понимая, несколько боком, – на нее набрасываются, как ястребы, «уставные» женщины и выталкивают из храма. Может быть, она больше никогда в него не войдет. Помню, один священник говорил мне, что «оформление» атеизма его дочери совершилось в храме под впечатлением, полученным от злых старух. Борьбы с ними, кажется, никто не ведет. Впрочем, слышал я, что наместник одного монастыря недавно даже отлучил от причастия одну такую ревнительницу Устава и человеконенавистницу. «Ты думаешь, что ты здесь хозяйка? – грозно говорил он ей при всех с амвона. – Не ты, а Матерь Божия». И еще я слышал, что один мудрый московский протоиерей называет этих женщин «православными ведьмами».

Помню, в 1922 году в Бутырской камере, во время бесконечного обычного хождения по ней, я среди других людей точно столкнулся с о. Валентином (Свенцицким) и глупо почему-то спросил: «Вы куда?» И вдруг лицо его удивительно просветлело внутренним теплом, и он сказал: «К вам». Он был такой уединенный, скрытый в себе, строгий и нетерпимый, несущий что-то от своего предка – польского кардинала. А тут был ясный и тихий луч чисто русской святости, доброй и всевидящей святости старцев. Он шел прямо ко мне, к душе, которую он тогда, наверное, ограждал от какого-то зла. Так тюрьма может просветить и освятить душу, раскрыть в ней чудесно то, что в другое время и не разыщешь. Я читал проповеди о. Валентина, которые он говорил по московским церквам уже после этих Бутырок, и в них нигде не видел лучей.

Некоторые молодые из недавно пришедших в Церковь бездумно и доверчиво принимают все, что в ней есть, а потом, получив удар от церковного двойника, огорчаются смертельно, вплоть до возврата в безбожие. А нам ведь сказано: **«Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби».**

Я знал одного такого юношу, который в период своих «Великих вод» христианства ночью тайно вставал на молитву, ставя свой единственный образок только на эти минуты в кадку с пальмой, все время боясь, что придет, увидит и разгромит отец – активный безбожник. Этот юноша мечтал тогда о монастыре, и никто его ни о чем не предупредил, не наставил. Все, мол, у нас замечательно. И поэтому, когда наступил зной внутренних церковных искушений, он не выдержал и отошел.

О церковном двойнике надо говорить с самого начала, говорить ясно и просто, так же ясно, как о нем говорится в Евангелии. Знайте о нем и ищите Христа в Церкви, только Его ищите, потому что Церковь и есть только Тело Христово в Своем человечестве, только Тело Его, и тогда вам будет дано мудрое сердце для различения добра и зла в церковной ограде, для того, чтобы видеть, что Свет (Церкви) во тьме светит, и тьма не объяла его».

Часто слышишь вопрос от недавно вошедших в Церковь: что читать для укрепления в вере? В христианстве только одна книга вполне его раскрывает, это «Новый Завет», а все другие – более или менее. Поэтому все остальные книги, говорящие положительно о христианстве, надо понимать безусловно. Слова Варсонофия Великого приближают нас к словам апостола Павла почти вплотную: такова сила духа святых отцов. Но, кроме них, есть множество книг с самыми православными заголовками, с самыми хорошими намерениями, которые христианство или затуманивают, или даже искажают.

«Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого», – сказал апостол. Только такой меч может рассечь темноту и путаницу в богословской и околоцерковной литературе и проложить человеку путь, ясный, как луч.

Но чтение Слова Божия есть уже подвиг, труд. «Покуривая», можно читать Розанова или Фому Аквинского, может быть, даже Вл. Соловьева, но не апостола Павла или Макария Великого.

Некоторые слова о посте, с разных сторон его освещающие, надо знать.

Св. Исаак Сирий говорил: *«Дух не покоряется (кресту), если прежде не покорится ему тело» (подвигом, а значит, и постом).*

В XV веке было пророчество св. Нифонта Цареградского о том, что священство последних времен Церкви будет в нравственном падении через две страсти: тщеславия и чревоугодия.

Апостол Павел учит: **«К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти»** (Гал. 5:13).

Один старец сказал своему ученику, у которого пост был чужд любви (по слову св. Максима Исповедника): *«Все ешь, только людей не ешь».*

Если пост понимать как прежде всего воздержание от нелюбви, а не от сливочного масла, то он будет пост светлый и время его будет «время веселое поста» (Стихира на Господи возвах, вторник. веч. 2 нед. Вел. Поста).

«Подавай сердцу моему чистейший страх Твой в душе моей совершенную любовь» (Стих. на Господи возвах, четверг вечера 3 недели Великого Поста).

Не–любовь – это самое страшное невоздержание, объядение и пьянство собой, самое первое, первоисточное оскорбление Святого Духа Божия. *«Умоляю вас, – пишет апостол, – любовью Духа».*

Любовью противопоставляется и гордости и злобе. В вечерней молитве мы просим у Святого Духа – *«Творца мира»*, по слову св. Ириней Лионского («Против ересей», кн. 2, гл. 30) – особенно тех грехов, которые были против любви: *«или кого укорих, или оклеветах кого гневом моим, или опечалих, или о чем прогневахся, или солгах..., или нищ прииде ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или кого осудих, или развеличахся., или греху брата моего посмеяхся».*

В связи с непониманием молящимися славянского текста не только Писаний, но и многих молитв в церкви можно наблюдать одно утешительное явление: непонятный текст часто как бы делается понятным через его церковный напев. Церковная музыка есть составная часть Священного Писания, она благодатна, и ее мелодии настолько слились за долгие годы своей жизни с обычными для каждого верующего христианскими чувствами, что сделались смысловыми переводчиками незнакомого текста. Ключом церковной музыки открывается дверь нашего восприятия.

Обратное этому мы имеем при оперетно–концертном исполнении, когда текст и знакомой молитвы становится как бы непонятным от музыкального сумбура чувств, не соответствующих чувствам христианским и христианскому пониманию данных слов.

Помню, как однажды на первой неделе Великого Поста одна женщина сказала мне во время молитвы всенощной: *«Куда же вы уходите? Сейчас будут петь концертное «Покаяние».*

Концертное «Покаяние» звучит немногим менее кощунственно, чем, скажем, «балетное покаяние».

Всякое оперное пение отнимает в церкви у людей соборную молитву и дает вместо нее

развлечение, т.е. лишает их последнего духовного руководства. Не говоря об исключениях, в смысле Отеческого руководства мы еще чаще всего *«овцы, не имеющие пастыря»*. Но, если в храме поется по–церковному, то люди ведутся всем строем и музыкально–осмысленной целостностью богослужения. Когда же до слушателей в храме доходит только некоторый музыкальный эффект или просто музыкальные крики, то они оставляются уже совсем на себя, отстраняются от участия в таинственном и страшном богослужении.

Недавно именно в связи с оперным пением, протоирей Трубецкой в «Ж.М.П.» (X–XIII:59) писал: *«живая идея литургической соборности постепенно замирает в Церкви»*. Не то же ли это самое, что сказать, что в Церкви постепенно замирает идея Церкви?

Один из священников, из таких, которые с уважением и любовью относятся к богослужебному Уставу, говорил мне: «Вы не можете себе представить, как я иногда мучаюсь, переживая несоответствие обряда отпевания фактической церковной действительности».

Центральная часть отпевания – «Со святыми упокой» – раскрывает тот его смысл, что оно предполагает наличие хоть какой–то христианской веры в усопшем, хотя бы искры раскаяния, а священнику приходится иногда теперь, по желанию родных, хоронить явных и воинствующих безбожников. Еще темнее этот вопрос в отношении заочного отпевания. Часто священник совсем не знает, что за человек им отпевается, он никогда в жизни его не видел, а в молитве, которую он торжественно читает над ним, он называет его «чадо по духу».

С совершенно такими же словами священник обращается и к самоубийцам, отпевание которых теперь все чаще разрешают архиереи.

Я видел неверующих священников, гордящихся знанием и соблюдением Устава. То, что было создано в монастырях Византийского Средневековья, они исполняли, не имея Веры Евангельской. Без нее же всякое «типиконство»² есть нечто крайне тягостное, духовно невыносимое: на грозную пустоту церковной действительности оно набрасывает покрывало византийского благополучия – «У нас, мол, все в порядке, так как мы пропели все 10 стихир, а не 9, и именно шестым а не пятым гласом».

Архиепископ Илларион, будучи в Соловках, как–то с доброй улыбкой спросил одного священника (о. П. Ш.): «И вы тоже принадлежите к секте типиконщиков?»

Устав зовет к молитвенному подвигу, т.е. к «побеждению», а не к «угождению» плоти, и, воспринимаемый так, он есть святое оружие духовной борьбы. «Живоцерковники» потому и нарушили его, что для них этой борьбы не существовало.

Опасность устава начинается тогда, когда забывается его историческая условность, и его начинают как бы догматизировать, возводить в догмат. Тогда и возникает это **«ощеживание комаров и поглощение верблюдов»**, то есть подмена христианства ветхозаветной обрядностью.

Уставом нельзя пренебрегать, но всегда при этом надо помнить: **«суббота для человека, а не человек для субботы»** – В этом смысле о. Алексей Мечев и говорил: *«Любовь выше устава»*.

Знаю, что понятие этой мудрости любви для нелюбящих очень неопределенно, но это предвидел апостол, сказавши: **«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего просто и без упреков, – и дастся ему»** (Иак. 1:5).

Сочетание свободы любви с Уставом возможно только тогда, когда в человеке все

² Буквализм.

стоит на своем месте: «безусловное на первом, условное на втором». О безусловном нам сказано ясно: **«Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это все приложится вам»** (Мф. 6:33). Царство Божие «внутри нас», в благодати Святого Духа. Поэтому, особенно в наше время ухода от основ христианства, от его духовности, не о том надо прежде всего болеть, что не знаем Устава, но о том, что так мало людей знает, что стяжание Святого Духа должно быть постоянной, ежедневной целью каждого христианина. Это апостольское завещание вновь произнесено у нас преп. Серафимом Саровским.

Сочетание свободы с Уставом возможно только через духовность, через стяжание Святого Духа. И тогда сама собой разрешается антиномия, на одной стороне которой: «Устав – это святое предание», а на другой – слова: **«Если же вы духом водитесь, то вы не под законом»** (Гал. 5:18) Устава.

Рассудочный бунт против содержимых в Уставе церковных форм есть чистое протестантство, т.е. неверие в Церковь, в то, что жизнь ее может наполнить своим нетленным содержанием разнообразные формы.

Еще при жизни Василия Великого, т.е. во второй половине IV века, Евхаристический хлеб давали всем в руки, и они могли хранить его у себя дома для больных. Но было бы безумием ввести просто так, административно, в нашу жизнь эту первохристианскую практику, не имея для этого ни почвы в духовном уровне верующих, ни нужды. Когда же обстоятельства и духовные и внешние меняются, тогда Церковь просто и благодатно переходит от одних форм к другим.

Помню, осенью 1922 года в Бутырской камере архиереи сидящие в ней, обсуждали вопрос о том, чтобы дать уже назначенным в ссылку мирянам частицу Евхаристии, зашив ее в ладанку. А на этапе, в Вятке (Киров), одна женщина (С. Ив.), сопровождающая своего духовника, передала нам в тюремный вагон Святые Дары для архиепископа Фаддея Астраханского.

Недавно я стоял на заупокойной службе в пасхальный еще период. Было множество поминаний: время, обычно длящееся томительно и долго, но здесь прошедшее легко. Певчие все время чтения медленно пели и повторяли пасхальные песни: стихиры, канон. Это не положено по уставу, но воспринималось как неожиданное откровение: имена усопших звучали точно на фоне пасхального благовеста, они были именами не мертвых, а живых.

«О, Пасха великая и священнейшая...»

Не так ли в наши дни неожиданно создается неумирающее Священное Предание – просвещение Церкви?

Церковь утверждается как апостольская не потому, что она содержит только те одни слова, молитвы и правила, которые установили апостолы, но потому, что она, кроме всего, полученного от апостолов, получает в течение всей своей исторической жизни через других святых то же самое, что получали и передавали апостолы. Апостолы взрастили Церковь, но ведет ее по истории Тот, Кто взрастил апостолов и Кто сказал: **«Я с вами во все дни до скончания века»** (Мф. 28:20).

Священное Предание и есть это божественное просвещение, – и уже данное, и *вновь* даваемое Церкви всегда, ныне и во веки веков.

Но, кроме этого Предания с большой буквы, в ограде Церкви есть еще много преданий с маленькой, к которым относится совокупность разных обычаев поместных, областных и

даже приходских церквей: иногда хороших, иногда менее хороших или даже просто плохих обычаев. Благодушно можно терпеть даже и плохие обычаи, но не надо возводить их к апостолам, то есть к Священному Преданию Церкви, которое может жить в разных формах: и в простоте, и в сложности церковного обряда, – но которое всегда едино в своей духовности. Эта Святыня Предания есть постоянное, вечно новое водительство Церкви Духом Святым.

Вот простота апостольского служения литургии в Троаде, в доме ученика: **«В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба... Павел, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел». Он «поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме»** (Деян. 20), где, как он знал, его ждали мучения и тюрьма. И вот иная литургия, совершаемая в богатстве и в покое XVIII или XIX века, скажем преп. Серафимом, Тихоном Задонским или Иоанном Кронштадтским. На престоле драгоценные металлы, разнообразен в веках созданный обряд, поются молитвы, совсем не известные в апостольское и послеапостольское время. И вот, разве не видим мы, – не смея поднять глаз, – что и багряный шелк и парча, и серебро на престоле пронизываются все тем же драгоценным лучом апостольской благодати, точно сама материя их претворяется в нетление, точно мы никуда не уходили из первохристианства. Вблизи от святых всех веков мы ходим по земле Первоначальной Церкви. *«Дух дышит, где хочет».*

Но Церковь не только онтологически пребывает в Троаде, но и исторически идет к ней, и как важно нам осознать, с одной стороны, эту «одинаковость» Троады и Сарова, а с другой, то, что Троада – это и начало и конец церковного пути, начало и конец церковной истории.

У матерей бывает тяжкая скорбь в случае рождения мертвого ребенка. Один благоговейный священник дал мне две молитвы о них:

1. *«Помяни, Человеколюбче Господи, души младенцев Твоих, кои умерли в материнской утробе и потому не приняли святого крещения. Окрести их Сам, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченно Твоею благодатию. Аминь.»*

2. (Молитва матери). *«Господи, помилуй чадо мое, умершее в утробе моей. За веру и слезы мои и ради Твоего милосердия Твоего не лиши его света Твоего Божественного».*

Здесь же запишу и молитву о самоубийцах, которую давали Оптинские старцы:

«Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего (имя), и аще возможно, помилуй его. Не поставь мне во грех молитву сию, но да будет Святая Воля Твоя».

То, что страх Божий от веры, а не наоборот, т.е. что вера от страха, или «со страха», как думают некоторые боязливые, видно хотя бы из этих слов: **«Да возвеселится сердце мое бояться имене Твоего»** (Пс. 85). Веселиться можно только от радости, или, что то же, от любви. Страх Божий есть «начало премудрости», но не начало веры. Начало же веры – любовь. Вне любящей веры мы остаемся с верой бесовской, ибо и *«бесы веруют и трепещут»*, т.е. имеют страх. *«Мы же веруем, потому что любим Бога»* (свящ. Ал. Ельчанинов)

О страхе Божиим, даже в его первоначальном «обучительном» смысле, надо говорить только в неотрывности от любящей веры, или, по слову апостола, от *«веры, действующей любовью»*, т.е. так, как это дано в молитве Василия Великого: *«Пригвозди страху твоему плоти наши и любовь Твоею уязви души наши».* *«Где нет любви, там нет веры»* (св. Тихон Задонский), а значит и нет истинного страха Божия, рождаемого верой.

Есть разные «страхи».

Блаженный Диадок так пишет о необходимости особой заботы в отношении наших невольных, иногда для нас неведомых грехов. *«Если мы не будем достаточно них исповедоваться, то во время исхода нашего страх неопределенный найдем в себе». «А нам, любящим Господа, надлежит желать и молиться, чтоб в то время оказаться непричастным никакому страху: ибо кто тогда будет в страхе, тот не пройдет свободно мимо князей адских, потому что боязливость души они считают за признак соучастия ее в их зле, как это в них самих и есть»* (Добротолюбие, т. 3).

Я знал молодого священника, который в наше время посещал больных умирающих в больницах для их причащения. Всякий поймет, сколько для этого требуется мужества веры. В плане человеческом такой священник мог это делать только потому, что не имел длинных волос и бороды и был вполне по-мирскому одет. Это – «священник-воин». А вот бывают и такие. Я стоял по одному поручению о. Николая Голубцова в приемной архиепископа Макария. Приходили и уходили разные люди и священники. Потом, смотрю, пришел еще один посетитель: великолепный плащ и шляпа, такой же костюм, лицо почти Дориана Грея. Но главное было в походке и в глазах: такая чуть презрительная уверенность, такая легкость умения вести себя. В левой руке его был желтый громадный портфель. Ну, думаю, это не иначе, как журналист или заслуженный мастер спорта. И вдруг вижу: он снимает плащ, вынимает из портфеля рясу и священнический крест и начинает не спеша все это на себя надевать. Я ждал, замирая, что из этого портфеля он вытащит теперь черную византийскую бороду.

Так что, перефразируя Колю Красоткина, можно сказать, что «батюшки бывают разные».

Надо смотреть не на бороду и не на отсутствие ее, а на глаза и на походку.

В одном приходе крестили мальчика лет 5–6. Через неделю его бабушка вместе с ним встретила крестившего его священника и говорит ему: «Поздоровайся, ведь батюшка тебя крестил». Мальчик посмотрел и ответил: «Нет, меня крестил ангел с крыльями, а батюшка связанный лежал на лавке».

Говоря о темном двойнике Церкви, я говорю не о конечной судьбе людей, которая так же неизвестна, как до распятия была неизвестна судьба «благоразумного разбойника».

Помню, о. Владимир Кривоуцкий мне рассказывал, как его однажды позвали причащать умирающего, который за много лет перед этим снял сан священника. «Когда я, – рассказывал о. Владимир, – поставил на столике у кровати дароносицу и все приготовил, умирающий вдруг чуть приподнял голову, точно потянувшись к столику и вдыхая запах святости, сказал: «Боже, Боже, чего я себя лишил!»

Человек может не нарушать своей православности, т.е. своего благоговения перед Церковью, если он, встретившись с той или иной ошибкой того или иного святого, осознает эту ошибку. Но он нарушит свое православие, если будет намеренно эти ошибки искать.

У Варсонофия Великого есть прямые слова о том, что и святые ошибались. Что же в этом такого страшного? Апостол Павел в послании к Галатам поведал нам для нашей пользы о том, что ошибался «вероучительно» даже апостол Петр.

Иногда это совсем и не ошибка, но чуждый нам стиль мышления и речи. Св. Иоанн Златоуст говорил в формах византийской риторики конца IV века, в формах для нас

тяжелых, ненужных, даже досадных. Помню, архимандрит Серафим (Батюгов) имея в виду именно этот внешне чуждый нам стиль, говорил: *«Читать всего Златоуста так, как он напечатан, нам почти невозможно. Его надо издавать как-то по-другому».*

И в то же самое время и для о. Серафима, и для всех нас, Златоуст, «умопостигаемый» через его литургию, через его молитвы перед причастием, через слово на Пасху, через дошедшие до нас из моря риторики корабли его нетленной мысли, – бесконечно нужен и легок.

«Уст твоих, якоже светлость огня воссиявши благодать, вселенную просвети... преподобне, всеблаженне».

Не только сам подвиг, но даже само это слово нам чуждо, под ним нам мерещится сразу несколько карамазовских Ферапонтов.

Слово «подвиг» имеет корнем «двиг», «сдвиг», т.е. движение. Подвиг есть всего только движение к Богу. Вот почему на утренних молитвах мы каждый день так просто и обыденно говорим: *«И на дела Твоя подвизаюся (т.е. двигаюсь) милосердием Твоим».* И каждый, кто делает хоть малейшее дело Господне, двигается к невечернему дню Божию.

Мне всегда кажется, что, когда «солнце пошло на лето, а зима на мороз», это солнце становится иногда загадочным, точно уже не понимающим, что скоро весна, и не только эта весна обычная, но и Весна грядущая, вечная. Я очень люблю это солнце, и другие его очень любят: от одного человека я слышал, что он в лагере, глядя именно на такое солнце, плакал какими-то непонятными слезами, в которых, как он говорил, было и не горе, и не радость, а что-то больше и того и другого. Это «оцет, смешанный с желчью, подносимый чьей-то любовью».

В первый раз в своей жизни я увидел такое солнце поздне-зимнее, когда мне было 16 лет, и было это в Зосимовской пустыни. Кончалась ранняя обедня в Надвратной церкви, народу было совсем мало, на клиросе три-четыре монаха так легко – по-монашески! – возносили к небу Херувимскую песнь, а посреди храма стоял на коленях, очевидно, только что пришедший в монастырь странник, освещенный этим солнцем, – в каких-то лохмотьях, веревках, котомках, с лохматой, еще совсем молодой головой. Он очень молился.

Вспоминая его, я вспоминаю слова апостола Павла: **«Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»** (Рим. 8:26).

И в личной жизни каждого может быть знак этого Суда.

О будущих муках надо так мыслить: если даже их не будет для других, – для меня они должны быть. Я чувствую их логику в отношении себя, я утверждаю их сам о себе. Если я останусь таким, какой сейчас, я сам буду для себя Будущей мукой и, как говорится, «туда мне и дорога».

А сверх этого все должно предаваться в волю Божию.

Если искренно жить, видеть себя так, как есть, не прятаться от самого себя, то Страшный Суд начинается еще при жизни. *«Праведен Суд Твой, Господи, помилуй меня».*

Идет в наши дни ранняя обедня в московском храме. Пришла молодая женщина с

девочкой лет 5–ти. У девочки длинные ресницы, в руках большая кукла. Девочка таращит изумленные глаза на алтарь и прижимает куклу. Потом мать взяла куклу и положила на окно, и кукла закрыла глаза – заснула, а девочка на нее и не смотрит. Она вся в зрении открытых Царских врат.

В молитве св. Амвросия Медиоланского есть такие слова: *«Отыми от меня сердце каменное и даждь ми сердце плотное»*. И у св. Исаака Сирина есть молитва о том же: *«Исполни, Господи, сердце мое жизни вечной»*. И этот же святой говорил: *«Жизнь вечная есть утешение в Боге»*.

Сердце – это орган чувствования, ощущения. Святые учат, чтобы мы еще здесь, в этой земной жизни, ощущали свою «жизнь вечную», свое «утешение», идущее от Духа–Утешителя.

Жить в вере – это и значит стремиться жить в ощущении жизни вечно. Если нет такого света этого ощущения, то жизни веры, по существу, еще и нет, или она бродит в сумерках, в «окамененном нечувствии», как мы читаем в вечерних молитвах. Еп. Игнатий Брянчанинов, вспоминая слова мироносиц: *«Кто отвалит нам камень от двери гроба?»* – пишет: *«Камень это недуг души, которым хранятся в неприкосновенности все прочие ее недуги и которые св. отцы называют «нечувствием» (2 том).*

Наличие духовного ощущения есть признак живой духовной жизни. Вне духовного ощущения начинается пребывание во внешности и формализме. Но св. отцы, уча об ощущении, тут же предостерегают от духовного сластолюбия. Отец Алексей Зосимовский говорил так: *«Надо поддерживать (в себе) всегда и везде горение духа», но «никогда не нужно братья за духовные подвиги ради ощущаемой от них духовной сладости, а исключительно только для приобретения покаяния»*.

Искать «всегда и везде» нам нужно ощущения покаяния и предощущения любви. Нам нужно искать Христа, а не опять–таки самих себя в какой–то духовной сладости. Утешение же в руках Божиих, и, конечно же, сердце наше воздыхает о Нем.

«По множеству болезней моих в сердце моем утешения Твоя возвеселиша душу мою» (Пс. 93).

Если нет покаянного подвига («болезней»), нет и утешения (в чем же, собственно, утешать?).

Но если нет подвига, нет и христианства.

Нельзя домогаться утешения (хотя его можно смиренно желать), но надо «домогаться» христианства, т.е. покаяния и любви, и тогда, непреложно получишь всем сердцем ощущаемое утешение.

Св. Игнатий (Брянчанинов) так молился об одном своем друге: *«Господи! Даруй Леониду ощутить духовное утешение, чтоб вера его создалась верой живой, верою от извещения сердечного, но не одного слуха» (Письма).*

Архимандрит Гурий писал: *«Церковь – это ощутимо начавшееся богообщение» («Буддизм и христианство»).*

Понятие жизни в Церкви очень трудно для объяснения и очень просто для восприятия.

«Вся права суть разумевающим и проста обретающим разум».

Этого «всего только» жизнь от «извещения сердечного», а «не от слуха», и это, кроме того, не философское рассуждение и не обрядовый рефлекс.

«Церковь это не стены и крыша, но вера и житие», – говорил Златоуст. И еще можно сказать: жизнь в Церкви это прежде всего – слезы, так как стоять у Креста без слез невозможно.

У Пастернака есть стихотворение «В больнице», которое надо было бы знать всем живущим в пустыне жизни. В нем о человеке, подобранном на улице «скорой помощью» и умирающем в больнице. Вот его мысли, когда он узнал, что умирает:

О, Господи! Как совершенны
 Дела Твои, – думал больной, –
 Постели, и люди, и стены,
 Ночь смерти и город ночной.
 Я принял снотворного дозу
 И плачу, платок теребя,
 О Боже! Волнения и слезы
 Мешают мне видеть Тебя.
 Мне сладко при свете неярком,
 Чуть падающем на кровать,
 Себя и свой жребий подарком
 Бесценным Твоим сознать...

Для меня это звучит так же, как слова умирающего Златоуста: «Слава Богу за все».

Об обрядовом рефлексе я вспомнил, когда прочел слова преп. Ефрема Сирина об исповеди:

«Если один обычай влечет тебя к Врачу, то не получишь здравия... Премилосердный требует любви от того, кто хочет прийти к Нему, и если приходящий приносит любовь и слезы, то Он даром приемлет дар (прощения)» (Творения, 3 издание., стр. 208–209).

Чистота и святость достигаются через покаяние. «Раскаянность есть уже степень святости», – говорил о. Александр Ельчанинов. Завершая таинство исповеди, священник, покрывая епитрахилью голову кающегося, произносит молитву: «Приими и соедини его (кающегося) Святой Твоей Церкви». Эту молитву воцерковления он произносит над нами всегда, даже если бы мы исповедовались ежедневно. Мы ежедневно грешим и поэтому ежедневно требуем очищения и соединения с Церковью через покаяние.

Живя вне покаяния, мы живем вне Церкви. У нас «положено» священникам раз в году исповедаться у назначенного по благочиниям духовника. Многие священники относятся к этому чисто формально, и, если уже нельзя совсем уклониться, то делают это только исполняя Устав и обычай. Получается, что люди, имеющие наибольшую нужду в очищении и святости, сами себя ставят вне пути, ведущего к ней. У них, видите ли, лежит в столе «ставленная грамота», как все покрывающий патент.

Я говорю не об исключениях, а об общей массе. Исключений я видел, слава Богу, достаточно. В Глинскую пустынь в 50–х годах постоянно приезжали священники и духовники к старцам. Сейчас ездят некоторые в Лавру, в Печеры. Помню, что после смерти о. Иоанна Быкова, личного духовника о. Николая Голубцова, он настойчиво искал себе в Москве нового духовника.

Благодать действует в свободе человека и свобода в благодати, они, по выражению еп. Феофана Затворника, «взаимовходны».

Поэтому весь процесс спасения каждого человека совершается «неразлучным действием обеих сил» (Бог. Энци., 1901, т. 2, стр. 649).

Свобода человека выражается в его самоопределении к Богу, которое благодаря первородному греху, неизбежно принимает форму борьбы за свое спасение от греха, форму подвига.

Подвиг есть акт человеческой свободы, определивший себя к Богу. Но, если, свобода и благодать «взаимовходны» и «неразлучны», то, очевидно, при оскудении подвига, «оскудевает» и благодать, – удаляется от ленивого раба. Наличие в данный момент в человеке дара той или иной благодати удостоверяется не документом, но истинным присутствием в нем благодатного огня.

Можно иметь документ о том, что благодать когда-то была дана, но сейчас не иметь благодати. Апостол ясно говорит, что огонь благодати надо «возгревать», то есть поддерживать. **«Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение»** (2 Тим. 1:6).

Преп. Симеон Новый Богослов пишет:

«В том, кто получил благодать, она или умножается, если он подвизается, или умалывается, если понерадит; и если это нерадение продолжится, то мало-помалу она и совсем в нем оскудеет и оставит его совершенно пустым. Оставит, а он долго еще будет думать, что имеет ее...». «Покаяние есть дверь, которая выводит человека из тьмы и вводит в свет». «...которые не прияли света Его, не прияли еще благодати... Пусть это будут цари, пусть патриархи, пусть архиереи, или иереи... Все они еще во тьме сидят и во тьме ходят...». «Но, говорят, ведь такова власть иереев, (вязать и решить). Знаю это и я, что она есть достояние иереев, но не просто всех иереев, а тех, который священнодействуют евангельски, с духом смирения, и живут безукоризненною и добродетельною жизнью... тех, говорю, иереев, которые каются, плачут день и ночь с совершенным смирением... и много плачут о чужих грехах... тех, которые... ходят Духом и никакой похоти плотской не совершают... Таких достояние – вязать и решить, священнодействовать и учить, а не тех, которые принимают только от людей избрание и рукоположение» («Слова». Вып. 1, М., стр. 464–467; Вып. 2, М., 1890, стр. 318, 319, 322–323).

Отец Нектарий Оптинский говорил: *«Мария Египетская в пустыне была по любви»*, то есть любовь двигала ее подвигом.

Монашество как истинный подвиг любви уже давно оскудело, и тот дух оскудения – омертвения в форме – перешел и к современным нам остаткам монашества в России. Иногда удивляешься: сколько холода в мире, такой в нем холодный сквозняк, а мы этого холода еще от себя добавляем!

Недавно слышал замечание одной молодой девушки–монахини в связи с разговором о возможности зайти кому-нибудь из православных в католический храм. «Православный, если зайдет – осквернится», – твердо сказала она. А я подумал: *«Иисусе, теплото любимая, помилуй нас!»*

И вот, в то же самое время, когда из среды этих самых монашествующих вдруг, как чудо, возникают настоящие подвижники любви, ученики Христовы, то именно они, а не миряне, делаются светильниками света, делаются вождями людей.

Тот, кто не понимает монашества, не поймет и первохристианства.

Епископ Феофан Затворник говорил, что молиться только по написанным молитвам – это то же, что говорить на иностранном языке по так называемым «разговорникам». Он, как и многие Отцы, учил, что надо искать свои слова для молитвы. Но это для нас возможно (если, конечно, не иметь в виду искусственное составление каких-то «своих» слов), наверно, только тогда, когда захлестнет горе со всех сторон, – тебя или друга. Вот тогда уж не замолишься, а просто закричишь к Богу. Не «спаси, Господи!», а «молю же Тебя, Господи, спаси!», «Согрей сердце его, Господи!», «Пожалуйста, Господи, приди к нему и утешь, я изнемогаю от скорби за него». Но дерзновение молитвы рождается только в дерзновении любви. Вот почему Макарий Великий говорил, что *«молитва рождается от любви»*.

В том, что «молитва рождается от любви», и вся тайна и все объяснение молитвы. Можно прочитывать множество акафистов и тысячи раз перебирать за день четки, но, не имея любви, т.е. скорби о людях, еще не начать молиться. И так «не начать» можно всю жизнь. Поэтому Антоний Великий говорил: *«Возлюбим скорбь, чтобы приобрести Бога»*. Он не говорил: «будем искать скорбь», но возлюбим ее, потому что, хотим мы этого или нет, – она есть чаша, подносимая нам Христом, и в этой чаше мы приобщаемся молитве.

Вне же скорби о людях мы имеем еще не молитву, но только «исполнение правила». И исполнение правила хорошо и необходимо, но только тогда, когда знаешь, что это только средство, а не цель т.е. оно понимается как только кнут для ленивого раба.

И четки (т.е. «счетки») тоже только «погоняло» для тварей, находящихся под тенью первородного греха. Никак нельзя ждать для молитвы какого-то особенного молитвенного «настроения». Надо брать кнут своего правила и грубо гнать себя им на молитву. Но зачем же хвалиться кнутом? Кнут надо скрывать, как нечто весьма несовершенное. Сидит человек на берегу и удит рыбу. Все тихо и благополучно, все по рыболовному уставу, красивый поплавок покачивается на воде. А не знает человек, что крючка внизу нет, и поплавок поэтому только одна «химера», и все его ужение – одна фикция. Таким благополучным поплавком бывает для некоторых их молитвенное правило. Только на крючке страдания выживает любовь.

О келейном молитвенном правиле так писал в одном письме еп. Игнатий (Брянчанинов): *«Относительно правила знайте, что оно для вас, а вы не для него, но для Господа. Посему имейте свободу рассуждением»* («Письма»).

О влиянии молитвы человека на окружающих его людей говорил Б.М. Назаров, кажется, в 1925 году. Он был морской инженер-судостроитель и много работал в каком-то учреждении. «Там, среди людей, – говорил он, – было много всякой вражды и волнений, и я не знал, куда от всего этого деваться. Потом решил: буду на работе вести постоянно молитву. И, представьте себе, результаты оказались скоро. Не только я сам успокоился, но стали спокойнее и все те, которые со мной общались».

Известны многим слова преп. Серафима Саровского: *«Стяжи мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся»*. В этом моем знакомом, тогда еще молодом, был мирный дух, и молитва его была мирная, т.е. смиренная. Отец Николай Голубцов любил повторять: *«Мир и смирение – слова одного корня»*.

Вот мирная молитва св. Иоасафа Белгородского, которую, говорят, он любил повторять всякий раз, когда слышал бой часов:

«Будь благословен день же и час, в оньже Господь мой Иисус Христос мене ради родися, распятие претерпе и смертью пострада. О, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в час смерти моей прими дух раба Твоего, в странствии суца, молитвами Богородицы и всех святых».

Святые отцы–молитвенники и так еще говорили: *«Любовь выше молитвы»*. Это говорили те же, кто утверждал любовь источником молитвы.

Я однажды жил один в глухом селе. Была Великая Суббота, службы в церкви не было, и я готовился прочесть ночью, благо я был совсем один, пасхальную заутреню. Вдруг ко мне постучался и пришел странник и попросился ночевать. Я пришел в великое смущение, почти в негодование: «Значит, я не смогу помолиться!» И вот, в своем безумии, я препроводил его к соседям. Очевидно, вместе с ним ушла и ночь, и моя предполагаемая молитва.

Есть грехи, не прощаемые себе во веки.

Надо отличать молитву от особого и отвратительного молитвенного сладостолбия, когда нет любви, и в памяти держишь только самого себя, стоящего на «молитвенной высоте».

Соборность – это единство христиан в святом Теле Христовом. **«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»** (Мф. 18:20). Соборность – это богочеловеческое единство любви, т.е. Церковь. Церковь есть именно соборность, собор (сбор) учеников Христовых в «храме Тела Его».

«Да двое едино будут».

Не пустив странника, отказавшись от «вечери любви», я отказался от соборности с ним и со всей Церковью. В ту пасхальную ночь, вычитав все положенное, я был уже совсем, очевидно, вне Церкви.

«Агапы» (вечера любви) совершались вместе с Евхаристией. Только Карфагенский собор 391 года отделил совершение Евхаристии от агап, так как постановил, «чтобы к Евхаристии приступали натощак» (Богословская Энциклопедия).

«Молитва рождается от любви». Не то же ли это самое, что сказать: «Молитва рождается от слез?» Я это понял, услышав слова одной современной девушки. В храме ее кто–то спросил: «Как научиться молиться?» Она не испугалась трудности вопроса, но ответила сразу: «Пойди заплачь и научишься». Эта девушка дополнила Древний Патерик.

В храме, в который ходила матушка Смарагда, был неверующий священник. Матушка Смарагда это знала, тяготилась, но деваться было некуда. Так вот, на исповедь к этому священнику она ходила так: сначала исповедовалась одна у себя в келье пред иконой св. Спиридона Тримифунтского, которого особенно чтит, а затем шла в храм на исповедь явную. Явная была необходима как открытый подвиг смирения и урок всем о недопустимости раскола. Как–то к случаю она рассказывала близкой душе: после одной такой двойной исповеди она увидела во сне, что стоит на клиросе, кто–то раздает всем по цветку, а ей дает два со словами: «Это тебе за две исповеди».

«Не имамы дерзновения за премногие грехи наши» (Молитва 6-го часа).

О. Николай Голубцов умирал с дерзновением. Он сказал своему брату: «Спой мне мой любимый прокимен». И брат пропел ему умирающему: «Честна пред Господом смерть преподобных Его».

И сейчас, в наши дни, в одном глухом углу России живет человек, имеющий дар прозорливости.

Работает баба на своем огороде, а уже месяц почти нет дождя, все засыхает. Баба про себя в душе молится: «Господи, уж на всех–то не хватит, ты на один мой огород, на одну мою полоску пошли дождичка». А этот человек, о котором говорю, шел в это время вдалеке, поднял руку, погрозил ей и кричит: «Что это! – «на мою полоску»! Ты о всех молись, не о себе одной!»

Современная городская жизнь как бы вытесняет молитвенное правило, совершаемое долгое время, и кажется, что дело здесь не только во враждебности жизни и молитвы. Даже верующей семье трудно огородить в ускоренном потоке времени какой–то час покоя, и даже в такой семье трудно открыто молиться. Точно этой одинокой долготой нарушается что–то более нужное для этой современной пустыни. Поэтому каждому, если его жизнь тесно связана с жизнью других, надо знать краткое молитвенное правило, завещанное преп. Серафимом Саровским, учителем современного христианства: «Отче наш», «Богородице», по три раза и Верую один раз: это совершить утром, а затем, как сказано в этом правиле, идти на свою работу и по своим делам, непрестанно взывая про себя Богу с краткой молитвой.

Епископ Феофан Затворник учил, что краткой утренней молитвой может быть любая, например, «Боже, в помощь мою вонми» или «Господи помилуй».

Смысл нового молитвенного правила в краткости его у себя дома и в непрестанности его среди людей, на работе. Из своего угла надо идти к людям, но идти с молитвой.

Недавно среди писем старца–епископа и его духовной дочери, исполненных духовной мудрости в лучших аскетических традициях, я прочел такое место: «Стоит грешнику вздохнуть о своей греховной ноше, стоит лишь раскрыть перед Искупителем всю душу, обремененную грехами многими, и с души, как бремя скатится, сомненья далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.» (М.М. Серг. посад, 1915, стр. 36).

Последние 15 слов целиком принадлежат Лермонтову, но они, очевидно, так были духовно нужны для этого места письма, что пишущий даже не поставил кавычек. Это были его слова, и они же мои слова, и слова всякого, ощутившего благодать молитвы, снимающей бремя греха.

В храм вошли два мальчика: одному лет шесть, другому меньше. Младший, очевидно, здесь еще не бывал, и старший водит его, как экскурсовод. Вот и Распятие. «А это чего?» – замирает младший с широко открытыми глазами. Старший отвечает уверенно: «А это – за правду».

О преп. Сергии говорится в акафисте, что он *«во плоти жил духовно, на земли небесно, с человеки пребывал ангельски, в мире – премирно»*.

Нам, может быть, этого очень не хочется, но каждый из нас должен в меру своих сил жить «в мире премирно», «на земле небесно».

Но надо осознавать отдельность мира от Церкви: мы не имеем права не знать, что мир не хочет Церкви и противопоставляет себя ей. Прощальная беседа Господа, записанная апостолом Иоанном, есть Завещание. В ней о Церкви, остающейся в мире, окруженной неверием и ненавистью мира.

«Духа истины мир не знает, а вы знаете» (14:17)... «Мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня» (14:19)... «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (15:19). «Вы восплачете, и возрыдаете, а мир возрадуется» (16:20)... «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир» (16:33).

Победил же Господь крестной любовью к этому самому миру.

Есть еще одно место в Христовом завещании о том же. **«Иуда не Искарот говорит Ему: Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (14:22–23).** Ученик, воспитанный в идее земного мессианского благополучия, был смущен тем, что Христос на этой последней вечери так явно утверждал Себя главою не мира, а только Церкви. И ответ Христа рассеял последние иллюзии о «явлении миру». В мире создается «обитель» Церкви, и в ней и через нее будет «явление Христа» миру.

Весь мир всегда, ежедневно, ежечасно, призывается в Церковь, хочет стать всем миром, или чтобы весь мир стал Церковью. Но мир – мы видим – хочет остаться самим собой.

Писать можно много о всех дорогих людях, о всех живущих в памяти сердца. Но не лучше ли замолчать, чтобы они не ушли куда-то дальше, потревоженные, может быть, так сказанным словом? Слишком драгоценна эта память, это несение в себе живых людей.

Но я не могу скрыть свою благодарность всем тем, кто так или иначе, случайно или неслучайно, много или мало приоткрывал мне в течение жизни – дверь в Церковь.

Потому и страшно жить, что все меньше в мире этих приоткрывателей дверей, что все меньше праведников. Как сказано: *«Спаси меня, Господи, яко оскуде преподобный».*

О. Александр Ельчанинов пишет: *«Главная ошибка современной молодежи в убеждении, что христианство есть философская система, логически доказуемая, которую они в данном своем состоянии могут усвоить себе. Христианство есть жизнь».*

Иногда наблюдаешь: чуть ли не восторженно принял молодой человек христианство: – «такое богатство мышления после скудости материализма!» – но вот проходит время, и, не приняв христианство как жизнь, как подвиг духовного преображения всей своей жизни, этот человек вдруг совершает такой нравственный поступок, который сразу ставит его вне Христианства. К одному Валаамскому монаху, не желавшему осознать свою вину и смириться, пришел во сне св. Иоанн Кронштадтский и сказал: «копай глубже», т.е. доберись в темноте души до какого-то света, как до золотого самородка в земле. Так и некоторым молодым хочется сказать: «Копайте глубже».

Варсонофий Великий учил, что для внутренней молитвы в людных местах надо «беречь глаза», так как через них врывается рассеяние и отгоняет молитву. Может возникнуть вопрос: зачем это знать нам, простым людям? Дистанция между нами и Отцами

огромная, но и солнце отражается в «малой капле вод». По закону какого-то уподобления подвижнически советы могут быть действительно воспринимаемы и в нашей малой вере.

«Непрестанно молитесь» – это прямая заповедь апостола. Отцы учат, что непрестанной молитвой может быть только молитва сердца. Ум устает, а сердце и во сне бодрствует. Но для нас, несовершенных людей, в понятии «сердечности» молитвы прежде всего важно понятие искренности ее. Апостол требует прежде всего непрестанной, или неизменяемой, молитвенной искренности к Богу, Он хочет, чтобы мы были постоянно в искренней правде молитвенного дыхания.

Если так понять молитву, то нелепо всякое сомнение в ее возможности. Почему невозможна искренность? Вспоминаю, как митрополит Кирилл рассказывал нам в Усть-Сысольске в 1923 году, что на Ярославском вокзале до революции был швейцар, стоявший у главного входа в какой-то форменной одежде, в «галунах», и что этот швейцар много лет нес подвиг непрестанной молитвы.

Матушка Смарагда говорила про себя: «Я нерадивый монах. И спастись мне нетрудно: на работу не хожу, сижу себе в отдельной келье, в покое, четками помахиваю. А вот ты пойдешь спасись на торчке, среди мира, как все другие живут».

Так что «монастырь в миру» есть христианство «на торчке». Звучит не благолепно, но так, как есть.

Хочется еще раз вдуматься в заповедь апостола о непрестанной молитве.

После того, как мы оканчиваем молиться, или, отстояв богослужение, мы обычно начинаем гордиться. Наши молитвенные паузы заполняются высокоумием, сдобренным только что совершенной молитвой, т. е. по существу они заполняются отрицанием молитвенного смысла: мы только что очень много раз сказали: «помилуй меня», а в наступившей паузе мы удовлетворительно и устало вздыхаем и совсем в общем не считаем, что нас надо «помиловать». Прерывность молитвы может создать черноземную почву для гордости.

Затем в нас возникает какая-то особая после-молитвенная беспечность («я помолился, теперь все в порядке»), от которой начинаются все те после-молитвенные искушения, о которых без конца предупреждают Отцы.

В непрестанности молитвы есть духовная логика молитвы, и, прежде всего, для укоренения совершенной искренности ее смирения, т. е. самой природы молитвы. Я не могу не молиться постоянно, так как я именно постоянно нуждаюсь в божественной помощи.

И почему я должен гордиться, если я непрерывно эту помощь зову? Мы ведь не гордимся своим физическим дыханием, его непрерывностью, мы никак его умом не замечаем, не расцениваем, – мы просто дышим. Так же и молитва должна стать незамечаемой простотой непрерывного дыхания.

Меня, наверно, осудят за то, что я пишу об этом. Я сам себя осуждаю, потому что пишу о молитве, не умея молиться. Но я убежден в одном: если мы не молимся, то мы должны хотя бы иметь воздыхание о молитве в нашем грешном сердце. Грешному сердцу и нужно больше всего воздыхать.

Еще раз пишу, что о молитве говорил еп. Феофан Затворник. *«В сердце жизнь, – там и жить надобно. Не думайте, что это дело совершенных. Нет, это дело всех начинающих»*

искать Господа. Тогда только и начало жизни, когда в сердце покажется сосредоточенная неугасимая теплота. Се есть огонь, который Господь пришел извести на землю».

«Сосредоточенная неугасимая теплота» в сердце это благодать Божия, поселившаяся там, сделавшая это сердце простым и искренним.

О. Нектарий Оптинский учил: *«Просите у Бога благодати... Молитесь просто: Господи, дай мне благодать Твою».*

Домогаться благодати нельзя, а просить надо, так как этим мы просим, чтобы сердце всегда было простое, искреннее и теплое. Просить о благодати – это то же, что замерзающему просить о тепле. *«Приидите вси, облечемся во Христа, да согреемся»* (Икос Богоявления).

Молитва требует какой-то тишины внутри и вокруг. Вот почему она невероятно трудна в наше шумное и гордое время.

Я помню чьи-то стихи, записанные мною у покойного Г.И. Чулкова, когда-то приятеля Блока, а потом духовного сына о. Алексея Мечева.

В заботах каждого дня
Живу, а душа под спудом
Каким-то пламенным чудом
Живет помимо меня.
И часто, спеша к трамваю
Иль над книгой лицо склоня,
Я слышу ропот огня
И глаза закрываю.

Может быть, и молитва сейчас живет «под спудом».

Одной из любимых молитв о. Серафима (Батюгова) была «Взбранной Воеводе», молитва не о себе только, но и за всех. «В наше страшное время, – сказал он мне незадолго до смерти, – эту молитву ограждения надо повторять почти непрерывно».

А схиигуменья Мария, духовная наставница многих, недавно умершая в Загорске, говорила, что в наше время надо почти непрерывно читать «Богородицу». Оба они этим говорят об одном и том же: «Богородицею помилуй нас!» – если мы спасемся, то только Богородицею.

На закрытие храмов надо отвечать исканием непрерывной памяти Божией. И это не потому что через это откроются храмы, а потому, что создается Незакрываемый храм.

Предсмертные слова епископа-подвижника Афанасия († 1962) были такие: *«Всех вас спасет молитва».*

О памяти Божией, хранимой в душе, я когда-то так написал, вспоминая детство. В Зосимовой пустыни был колодец-часовня. На потолке был изображен благословляющий Спас. И вот, когда посмотришь, бывало, вниз, – Он же, благословляющий, ясно и тихо отражается на темном покое воды. Так и в колодце души может сохраниться живой памятью – молитвой благословляющий Спас как видение детства.

Все больше пустыни в Церкви и все меньше людей в храмах. Это с одной стороны, а с другой, все многоязычие экуменические³ съезды. Но матушка Смарагда говорила своей ученице: «Даже если и совсем одна будешь стоять в церкви, – стой!» И в храме, в смысле посещения богослужений, и в Церкви, в смысле верности ей. И она же говорила: «Мы приближаемся к печатям».

Религиозные прозрения некоторых писателей, например, Достоевского или Пастернака, были посылаемы от Бога для восполнения пустоты религиозной литературы их времени, для какой-то духовной компенсации. Иногда их можно расценивать как глас Валаамовой ослицы, «остановившей безумие пророка».

Причем, интересно, что все религиозно-ценное, что есть в мировой литературе, восходит не к ученому богословскому рационализму, но к золоту подлинной письменности Церкви. Вот один пример. Отцы-подвижники очень советовали заучивать наизусть отдельные куски Нового Завета и Псалтиря, чтобы постоянно жить в них. Бредбери, конечно, об этом не знал, когда вложил в сердце последних людей христианской цивилизации, живших в условиях атомного одичания, идею заучивания наизусть глав Евангелия, чтобы пронести их в темноте, как золотые звенья человечества («451 градус по Фарингейту»).

Я думал, что этот совет и Отцов и романиста надо осуществлять и нам, введя в свое ежедневное молитвенное правило некоторые наиболее любимые куски Новозаветного текста, заученные наизусть. Это нам может еще особенно пригодиться.

Гоголь издавал свою благочестивую переписку с самыми благими православными намерениями, а Оптинские старцы ей не доверяли. На церковном Западе «Сущность богословия» Фомы Аквинского считается богословским основанием Католической Церкви, а Бердяев точно сказал об этой книге: «Если бы я прочел ее всю, я, может быть, стал бы неверующим».

И наоборот: можно приблизиться к вере или укрепиться в ней через некоторые стихи Лермонтова, Тютчева, Пастернака или Блока. Я уже не говорю о Достоевском или Лескове. У меня был близкий человек, просидевший год в одиночке с книгой Достоевского и сделавшийся из неверующего верующим. О Бредбери кто-то сказал, что у него апокалиптическое прозрение Запада.

Какой же из этого вывод? Надо и в этом быть мудрым, «как змеи» и простым «как голубь». Литература полна хаоса и развращенности. Не только не нужно, но прямо вредно все подряд читать. Но не надо прямо отрицать возможность увидеть свет и в этом темном лесу. Если люди от Бога, то и стихи их могут быть от Бога. **«Все от него, Им и к Нему».** Ибо, как говорит тот же апостол, цитируя в своей религиозной проповеди языческие стихи (Деян. 17:28), – **«мы Его и род».** Я в нестерпимой толкучке метро иногда слезно молюсь своему Ангелу словами тютчевских стихов:

Крылом своим меня одень,
Волненье сердца утиши,
И благодатна будет тень
Для успокоенной души.

О Гоголе я упомянул не случайно. Некоторые молодые христиане без разбору принимают за подлинное все то, что было в дореволюционной церковной литературе. Это ошибка, опасная для духовного здоровья. То зло, которое мы видим в современной

³ Экуменизм – идеология всехристианского единства.

церковной ограде: равнодушие к человеку, внешность во всем, – и в подвиге (если он есть), и в молитве, – стирание границ между церковью и государством, обмирщение, богословский рационализм, жизнь по плоти, а не по духу Божию – все это есть наследство, полученное от прошлого. Мой отец был очень правоверный священник, ученик Оптинских старцев и Леонтьева, но я помню, как он страдал в душном предгрозовом воздухе дореволюционной церковности.

Приведу несколько строк из воспоминаний об отце одной его близкой духовной дочери.

«Перед первой мировой войной, – пишет она, – о. Иосиф пережил какое-то большое, потрясающее переживание. Об этом мне рассказывала его жена после его смерти (в 1918 г.). Она помнила, как о. Иосиф сидел у углового окна, выходящего на Арбат, и, глядя не перспективу улицы, точно на перспективу истории, говорил о своей потере веры в страну... *«Я верил, что русский народ носитель православия. Было, может быть, и ушло».* В начале мировой войны 1914 года была мечта о «Кресте на св. Софии» (в Константинополе). Еще до того, как исторически стало ясно, что это неисполнимо, о. Иосиф говорил: *«Зачем нам св. София? Кто в нее войдет? Распутин!?»*

Дореволюционная церковность все больше теряла любовь и святость.

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14).

«Храм Божий свят, а этот храм – вы» (1 Кор. 3:17).

А «кто делает грех, тот от дьявола» (1 Ин. 3:8), т. е. значит, он не от храма, не от Церкви, пока не покается. Для постоянства бытия в Церкви необходимо постоянное покаяния. Вот с какой стороны проливается свет на необходимость для всех постоянной покаянной молитвы. *«Согрешил на Небо, и пред Тобою, Господи; прими меня в число наемников Твоих».*

Любовь есть качество воли, или, как говорил святитель Николай Кавасила (XIV век), *«добродетель воли».* Бог ждет от нас только этой нашей воли к Нему, т. е. любви, и дает Себя не за дела их и подвиги, в порядке какой-то оплаты, а только за эту волю – любовь, за возжелание Его бытия, за волю к жизни. Бог-любовь ждет любви, а потому ждет воли. Человек весь в путах первородного греха и сам по себе ничего не может сделать, чтобы обрести Бога, т. е. свое спасение, кроме того, чтобы возжелать Его, потянуться к Нему своей волей. И Бог, видя эту свободную волю, дает человеку помощь Своей благодати, через которую и приближает его к Себе и совершает в нем все его благие дела. Не человек совершает своей силой, но благодать Божия – ради человеческой воли, т. е. ради любви, обнаружившей себя попыткой – «трудолюбного делания» в подвиге.

Именно на этом основано учение Церкви о спасении человека даром, за смиренную веру, а не в виде вознаграждения, как учит Рим. Подвиг есть только обнаружение или признак благой воли – любви к Богу. Духовный труд совершенно обязателен, но все, что человек обретает, это не его, но Божие, и обретает он не через труд, но по милости Божией. *«Хотя бы мы взошли на самый верх добродетели, но спасаемся мы все же по милости»* (св. Иоанн Златоуст).

Это одна из самых поразительных и самых радостных антиномий христианства.

Радостно осознавать, наконец, что ты – ничто, и что *«все от Него, Им и к Нему. Ему слава во веки!»*

«Не любите мира» (1 Ин. 2:15). **«Так возлюбил Бог мир»** (Ин. 3:16). Не то

примечательно, что здесь мы видим выражение закона противоречий христианского познания, а то, что эти две противоречивые фразы о любви и нелюбви написаны одним и тем же апостолом любви.

Сущность этого закона антиномий хорошо раскрыта Флоренским. Противоречие реально, но оно также (или даже более) реально разрешается в единстве благодати, в которую погружается человеческий разум в Церкви.

Вот еще пример противоречия. Ап. Павел в послании к Титу пишет: **«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости»** (3:5). Тут, как будто чисто лютеранское спасение только верой, без необходимости подвига и «добрых дел». Но через один стих апостол добавляет: **«Чтобы, оправдавшись Его благодатию... уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам»** (3:7–8). На единстве этого противоречия, неразрешимого для Запада, стоит вся дивная высота православных святых.

«Не надейся на себя: все благо, совершающееся в тебе, есть следствие милости и силы Божией» (преп. авва Исаия). Это постоянная формула аскетике.

«Подвизайся... Когда же сможешь перейти страну страстных помыслов, не окажись неблагодарным, не признав в сем дара, свыше тебе данного, но исповедуй с апостолом, говоря: «не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мною» (1 Кор. 15:10) сделал сию победу» (преп. Иоанн Карпафийский).

Очищение человека от греха – это его просвещение Светом Невечерним Божиим, и оно совершается не по заслугам человека, не потому, что он живет в подвиге, хотя должен жить в подвиге, а «паче ума», или «священнотайно».

«Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется Троическим единством священнотайно» (Антифон гл. 4).

Тем молодым христианам, которые по религиозной молодости бросаются искать внешнее, например, акафисты, хочется сказать: «Ищите прежде Царства Божия», а тогда может быть, приложатся вам и акафисты. Акафисты найдут и на этом успокаиваются, а нам заповедано искать общения с Господом и общения с людьми.

Преподобный Ефрем Сирин говорил: *«Монашество это не одежда, (даже!), не пострижение, но божественное желание и небесное житие»*.

Такое житие нам и во сне не приснится, но «божественное желание» мы все должны иметь, желание божественного вейния Святого Духа. Только это и есть цель христианства, и беседа преп. Серафима «о цели христианской жизни» раскрывает нам эту истину, зовет, сметает с пути обман внешности и холодного самозамыкания в себе, утверждает единственную и постоянную нашу задачу: соединение с Господом, богообщение.

Сейчас многие люди пишут стихи, технически гораздо более совершенные, чем стихи Пушкина или Блока. И в то же время все знают, что у нас нет ни Пушкина, ни Блока.

В богословии происходит примерно то же: многие стали грамотно богословствовать, умело и профессионально, т. е. совершенно бесстрашно говорить о «гнозисе»⁴ и «аскезе»,

⁴ **Гнозис** – религиозно-философский термин, обозначающий особое духовное знание и познание, доступное избранным мистически просветленным личностям.

«энергиях» и «преображении», «соборности» и «уединенности», «катафатической»⁵ и «апофатической»⁶ традиции. Все слова вроде бы правильные, но иногда так томительно бывает их послушать. Богословие можно ввести в салон, а его надо вводить в подвиг молитвы и в простоту любви.

«Чтение тонких исследователей о Боге иссушает слезы и прогоняет от человека умиление» («Патерик»).

«Лици Господа, но не испытай, где Он живет» (преп. Серафим Саровский).

Отцы учили, что молитва – это богословие, а богословие – молитва. Практически это нам надо понимать так, что только то богословие необходимо людям, как-то уже стоящим около церковных стен, которое может быть переходом к молитве.

После всей математики Флоренского легко переходить к молитве. Он о ней почти не писал, но он строил для нее, иногда неумело, благоухающий храм. Его метафизика всегда тоскует и стремится к реальному русскому древнему храму.

То же чувство от богословских работ митрополита Антония (Блюма). У некоторых других современных богословов очень много религиозного рационализма, будет ли он гностический⁷, общефилософский или ортодоксальный⁸. За множеством их слов не слышно их молчания, а ведь это молчание богослова нужнее всего.

«Я рассудил быть у вас, – говорит апостол, – не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2:2).

Вот тот центр, как от камня, брошенного в воду, от которого расходятся круги апостольского богословия. Я, помню, видел когда-то древнюю икону Спасителя, которая называлась «Иисус Благое Молчание», Спаситель был на ней изображен как «Великого Совета Ангел», как средоточие Божественной премудрости и Ведения.

Благодатное видение – познание есть самый воздух Церкви. Если мы в Церкви, т. е. если мы любим, то мы познаем и богословствуем, ибо «любовь рождает знание» Церкви.

Церковному человеку можно, а некоторым и даже нужно насыщать свой ум также и общечеловеческими знаниями, если только они при этом сумеют так жить умом и сердцем, чтобы быть «не знающими ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого».

О сочетании общечеловеческого знания, или «мирской премудростью», с премудростью Божественной лучше всего сказано у Варсонофия Великого, подвижника VI века и апостольской веры.

«Ты не должен обращать внимания на одну только мирскую премудрость, ибо если человек не имеет данной свыше духовной премудрости, то бесполезна ему первая. Если же имеет и ту и другую, то таковой блажен» (Ответ 822). Как мало таковых «блаженных», сумевших войти в тайну сочетания.

⁵ **Катафатическое** богословие – совокупность теологических принципов, постулирующая познание Бога через понимание того, чем он является.

⁶ **Апофатическое** богословие – богословский метод, заключающийся в выражении сущности Бога путём последовательного отрицания всех возможных его определений как несоизмеримых.

⁷ **Гностицизм** – греч., от gignosko, знаю. Религиозно философское учение некоторых школ, в первые века христианства.

⁸ **Ортодоксальный** – последовательный, строго придерживающийся правильного учения.

«Молитва Иисусова вселила меня в пути, и люди все стали для меня добрее, – точно они обновились в любви... Когда встречался с ними, все без изъятия казались мне так любезны, как будто родные, хотя и не знакомился с ними... И когда при сем начинал молиться сердцем, все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: древа, травы, птицы, земля, воздух, свет – все как будто говорило мне, что существует для человека, все свидетельствовало Божию неизреченную любовь к человеку... И я понял, что такое «ведение словес твари», и как «всякая тварь воспевает Бога» (из рассказов странника о благодатных действиях молитвы Иисусовой. Изд. 3. М., 1893).

Вхождение в духовность дает человеку осознание условности времени. В духовности начинается тропа Вечности, где «времени больше не будет». Снимаются какие-то стены, стена, отделяющая и закрывающая мое настоящее от моего прошлого, от любимых умерших, от совместной с ними жизни, от детства, от, казалось бы, давно потерянных сокровищ.

И еще возникает новое: возможность как-то изменить что-то в своем прошлом, в себе, давно бывшем, что-то в темном осадке падений и измен Богу. Нам сказано: *«Все возможно верующему»*. Старец Серафим (Батюгов), помню, говорил: *«Наступит время в вашей жизни, когда вы начинаете залечивать прошлое»*.

«Побеждаются естества уставы в Тебе, Дева Чистая» (служба Успению). Бог хочет нашего спасения, а *«идеже бо (там где) хочет Бог, побеждается естества чин»* (служба 7 гласа). Тот несомненно выше – естественный мир, в котором христианин должен переходить не «когда-то там», «на том свете», а уже теперь, на земле, среди современной цивилизации, называется «духовный мир», а состояние человека, в него как-то вступающего, состояние «духовное». Почему так? Только потому, что это состояние божественное. Духовность – синоним стяжания божественности, так как **«Бог есть Дух»**. Эти слова сказаны Христом именно тогда, когда Он открыл перед человечеством, в лице Никодима, всю реальность существования иного, божественного мира и всю трудность перехода в него. Духовность есть Царство Божественного Духа, а христианство – учение об этом Царстве и вход в него.

Вот почему призывом «ищите Царствия Божия» наполнено Евангелие. Никодим, как мы знаем, ужаснулся, поняв реальность нового рождения в духовность и его выше-естественность для земных людей. И мы ужасаемся при мысли о духовности и прячемся от нее в любую внешность: философскую, экуменистическую, типиконическую.

Матушка Смарагда говорила: *«Невозможно вам объяснить – что такое духовная жизнь; но хорошо если вы знаете, что она существует»*.

На сто человек, стоящих в храме, хорошо если есть двое-трое мужчин и две-три женщины моложе 50 лет. Раньше, в 20-х годах, мы говорили: «Церковь оставлена на женщин», и вспоминали при этом верных Христу мирносоиц: тогда в храмах еще много было молодых женщин и девушек. Сейчас надо менять формулу: Церковь оставлена на старух, хорошо, если не очень злых. И некоторые молодые христиане не отдают себе отчета в этом страшном процессе дехристианизации России и, имея счастье жить в Москве, около кучки верующей молодежи, уверяют себя, что «все в порядке». У таких людей нет осознания жизни многих десятков миллионов людей, и они не видят пустующих храмов. В процессе отпадения от христианства город соревнуется с деревней, и, кажется, деревня побеждает. По какой-то закономерности христианство возвращается в первохристианство не только духовно, но, так сказать, и географически: из деревень в большие города: «Рим» и «Эфес», «Антиохию» и «Коринф». Там будут создаваться новые последне-христианские общины,

окруженные миллионами неверующих.

Бог Сам ищет сейчас Своих учеников и тогда, как говорили и Паскаль и Флоренский, к человеку приходит не Бог философов и ученых, но Бог Авраама, Исаака и Иакова, и берет его за руку и ведет.

Все мы знаем картину Иванова «Явление Христа народу». Явление Христа душе совершается в каждом человеке, призываемом Богом, в меру сердца призываемого. Душа получает как бы толчок, – иногда через случайно найденное Евангелие, среди выброшенных в мусор книг соседа, иногда через сон, иногда через искусство иконы, иногда через живого носителя святости и любви. Как сказал преподобный Симеон Новый Богослов, если не будет явления Христа в нас, то мы не можем ни верить в Него, ни любить Его, как должно.

Недавно рассказывали об одной девушке (неверующей еврейке), увидевшей сон: она бежала в смертном страхе от кого-то и вдруг припала к Распятию и обняла его с явным чувством, что спаслась. Проснувшись, она пошла искать Церковь Распятого.

Явление Христа – это зарождение в душе Его чудотворного образа, это личное услышание слов: **«Се человек!»** Только полюбив, можно поверить.

«Кто не может любить Бога, тот, конечно, не может и верить в Него» (Преп. Симеон Новый Богослов).

В связи с возможностью «явления Христа» душе через искусство иконы вспоминаются слова Флоренского о возможности философского доказательства бытия Божия. Флоренский сказал, что лучшее из этих доказательств помещено в Троице Рублева: *«Если существует «Троица» Рублева, то значит есть Бог»*.

С теософией⁹ мое знакомство произошло в самом начале революции, когда на стенах домов иногда появлялись объявления о теософских лекциях. Помню обстановку одной из них.

В коридоре и зале множество московских дам, точно цветник, а среди них прохаживающийся здоровый молодой мужчина с правильными чертами лица, в розовом хитоне, с голыми руками и ногами, на которых браслеты. Это – говорят мне – молодой поэт, не то имажинист, не то кто-то еще. На сцене перед кафедрой длинный ряд белых цветов в горшках, из-за сцены доносится тихая таинственная музыка. Публика томится ожиданием чего-то и нервничает, но иногда раздаются антитеософские реплики, и в их сторону направляется с грозным лицом человек в хитоне. Наконец, появляется лектор, тоже дама, по фамилии, кажется Пушкина.

Она говорит, что человечество ожидает возрождения и приближается к нему, что Великий посвященный поэтому скоро придет, что технический прогресс дает ему возможность быстро перемещаться по всему миру, что мы должны жить внутренне так, чтобы не пропустить его прихода, чтобы его заметить.

Когда она закончила, раздались аплодисменты, а за сценой опять заиграла музыка. И вдруг в середине зала поднялся на стул С.Н. Дурылин (тогда еще далеко не священник) – маленькая фигурка в золотых очках и синем пиджаке – высоко поднял руку и громко сказал: *«Не верьте: когда придет Христос, Его нельзя будет не заметить, «ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына*

⁹ **Теософия** – синкретическое религиозно-мистическое учение о единении человеческой души с божеством и о возможности непосредственного общения с потусторонним миром.

Человеческого».

Через два года, кажется, после этого С. Н. Дурьлин принял священство и служил на Маросейке у о. Алексея Мечева. Помню, как на литургии в Великую Субботу С. Н. говорил слово о том, что *«сия есть благословенная суббота, сей есть упокоения день, ибо почил от всех дел Своих Единородный Сын Божий»* (стихира).

В С. Н. была большая личная любовь к Христу, именно та личная любовь, которая светит нам в жизни и в писаниях Святых Отцов и о которой так вовремя и так хорошо напомнил Достоевский.

И вот остается факт: несмотря уже на принятое священство, С. Н. отошел, в конце концов, от Церкви. Пожалуй, лучше будет сказать по-другому: благодаря тому, что он принял священство, он отошел: бремя оказалось непосильным для его плеч. Для слабого духом, при этом искреннего и любящего, невыносимо увидеть в Тайной Вечери зло. Для того, чтобы, увидев, устоять и быть истинным священником, нужно быть готовым повторять слова апостольские в ответ на слова Христа: *«Один из вас предаст Меня»*. – *«Не я ли, Господи?»* – ответили апостолы.

Какая бездна смирения и проникновения в тайну Промысла Божия! Только это спасает каждого и ведет к Церкви, и тем более стоящего в алтаре. Там повторяется Тайная Вечеря

Но к этому смирению можно идти только труднейшим подвигом веры. А у С. Н. тогда умерли все его старцы – и о. Анатолий Оптинский, и о. Алексей Мечев, и он остался один.

Я раза два был у о. Алексея Мечева и на службе и в доме. Помню, с каким детским удовольствием он вдруг бросался в переднюю подавать кому-нибудь – совсем незначительному – шубу. Я говорил мало (в противоположность С. Н., который говорил все время), точно к чему-то прислушивался.

«Вот меня считают ясновидящем или прозорливцем, – сказал он одному человеку, которого исповедовал, – а это не прозорливость, а всего только знание людей. Я ведь их переживания вижу, как на ладони». И при этом повернул свою маленькую. Он был небольшого роста, с быстрыми движениями и какой-то, точно неудержимой, веселостью, которая шла от его премудрых всевидящих глаз. На фоне солидного и мрачного, так называемого «филаретовского» духовенства Москвы, он был носителем того «веселия вечного», о котором поется в пасхальную ночь.

Люди, как-то верящие в Бога, но не верящие в Церковь, например, теософы, обычно говорят: «Неужели Богу нужны обряды? Зачем эта формальная сторона? Нужна только любовь, красота и человечность».

Человек, влюбленный идет к девушке и, видя по дороге цветы, срывает их, или покупает, и несет их к ней, совсем не считая, что это только «формальная сторона». Это и есть идея церковного обряда.

Любовь к Богу естественно порождает красоту и человечность обряда, воспринимаемого, как цветы, приносимые к ногам Божиим. Вера есть любовь и суть христианства – влюбленность в своего Бога и Господа и тем самым ощущение, что на земле осталось и живет его Тело – Церковь. Как же могут эти ощущения не выразить себя во внешних действиях, которые мы называем обрядами?

Если же существует одно внешнее, т. е. мертвое действие, то тогда не только в христианстве, но и во всех человеческих сферах, например, в научной, оно будет только бесплодным обманом себя и других. Но говорить об этом – означает ломиться в настежь

открытую дверь. Это каждому ясно.

Формализм или, что еще хуже, ханжество, т. е. формализм подсахаренный, не есть христианство, и каждый из нас, уже числящийся христианами, должен проходить этот длинный и узкий путь от нехристианства к христианству, от мертвых цветов к живым.

Теософия не так безобидна, как может показаться. Ее суть в отвержении Церкви как Тела Божия в мире. Тело Божие в человечестве есть реальность присутствия в мире Бога, и эта божественная реальность невыносима для высокого темного спиритуализма.

Церковь есть Тело Бога, и этот непостижимый факт жизненно постигается каждым христианином в обожествлении его души и тела через подвиг преображения. Обожествляется именно эта душа и тело, вот это мое и твое дыхание, налагая тем самым ответственность на именно этот, данный путь человека в жизни. В христианстве нет тумана перевоплощений, в котором всякая ответственность снимается. Церковь берет данного человека и ведет его в Вечность, делая его клеткой великого тела. Персть человеческая входит в Божественную Жизнь. О, Пасха!

«Исполнятся пророчества вопиющего, глаголет бо: восставлю скинию падишую священного Давида в Тебе, чистая, преобразившюся. Еяже ради персть всех человеков в тело создася Божие» (Служба Рождества Богородицы, канон п. 9).

Бабушка напевает крошечному внуку колыбельную песню Лермонтова: «Дам тебе я на дорогу образок святой, ты его, моляся Богу, ставь перед собой...». Внук блаженно смежает глазки. Входит мать, дочь бабушки: «Что это ты поешь? Не надо».

Конечно, пережитки капитализма могут быть внедрены в сознание и через Лермонтова. Так внутри семей образуются чуждые духовные расы.

Рассказ об этом (недавний) запомнился мне, как нам в молодости открыл С.Н. Дурылин «одну молитву чудную» Лермонтова, молитву о тех «косых лучах», о которых так хорошо потом говорил Достоевский, сам весь освященный ими. В русской литературе XIX века – в художественной, в славянофильской – было что-то неизречимо большое, что «могло бы быть, да не вышло». И в том, что «не вышло», в том, что были только тихие косые лучи пред ночью, есть всем нам нужная религиозная скорбь.

Я люблю читать в Деяниях то место, где описывается прощание ап. Павла с Ефесскими пресвитерами: **«Тогда немалый плач был у всех, и падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его»** (Еф. 20:37–38).

В те годы, когда к нам иногда приходил о. Серафим (Батюгов), у нас жила близкая нам, простая женщина. Она была когда-то инокиней (сама ушла от родителей в монастырь, когда ей было лет 11–12), но в это время ничем внешним от нас не отличалась, и посты не очень соблюдала. Но у нее было сердце, жалеющее всех людей. Про нее о. Серафим говорил: она ходит не только в ангельском чине, но и ангельскими стопами. Она умерла у нас утром в Великую Субботу, будучи буквально до последней минуты в полном сознании и в полной уверенности, что она не уничтожается, но переходит в Новую жизнь.

Характер у нее был своенравный, и, кроме того, она не любила плохих молений и служб, что, конечно, огорчало о. Серафима, особенно, когда получалось так: он надевает епитрахиль, чтобы служить, а она идет на огород копать картошку. Я вижу: он читает и все посматривает в окошко на ее фигуру, склоненную к ботве. И вот, помню, однажды о. Серафим стоит в передней, одевается, чтобы уходить опять надолго, потом еще раз

прощается с нами, а пред этой женщиной опускается вдруг на колени и кланяется ей в ноги.

О нем еще хочется записать одно воспоминание. Было зимнее утро, еще не светлое и холодное, когда раздался стук в наружную дверь. Я выхожу и на вопрос «кто?» – слышу тихий монашеский ответ: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Я так обрадовался, совсем не ожидал его в это утро, что вместо положенного «аминь», воскликнул: «ах! как хорошо!», и уже после этого, спохватившись, и уже дважды: «аминь, аминь». И вот когда я открыл дверь, я впервые увидел такое его лицо: радостно–утешенное: он услышал, что его – странника – здесь ждут и любят.

Жития святых надо читать, но не всегда надо ограничивать свое восприятие данного святого прочитанным текстом. Надо желать узнать что–то, о чем, здесь, может быть, и не сказано. В «житиях» бывает иногда некоторое затемнение образа, – индивидуальность святого, т. е. реальность в божественно–человеческом смысле, скрывается иногда в нивелирующем тумане какой–то благочестивой стандартности, а великое чудо преображения человека, то «дуновение Иисусово», которое несет в своем дыхании каждый святой, – все это, благодаря туману, делается незримым и неслышным.

В житиях преп. Сергия, и в особенности преп. Серафима нет тумана, хотя там описаны и великие чудеса, совершенные ими. Вот почему образ преп. Серафима так особенно близок нам, так всемогущ в отношении нас, вот почему так радостно бывает в ясный летний день закинуть голову, всмотреться в легкие облака и вдруг осознать, что они, вот эти облака, вот совершенно так же шли по голубому небу над Саровом, когда там ходил живой преподобный. Такое великое открытие есть в этом осознании: я действительно живу вместе с ними под единым голубым неумирающим небом русской Церкви.

В «Изложении Веры» св. Максима Исповедника есть слова, вводящие в догмат о Церкви: *«Два существа (о Сыне) исповедуют одно единосущное Отцу по Божеству, а второе единосущное матери по человечеству».*

Христос единосущен не только Отцу, но и матери, а это значит, что Богочеловек единосущен человеку и, тем самым, Церковь единосущна Христу. Вот почему и сказано апостолом, что «Церковь есть Тело Его», тело Богочеловека, и вот почему Церковь есть Богоматерь, как из себя образовавшая это богочеловеческое тело Христа. Церковь есть непостижимое единство человека и Бога, Богоматери и Бога.

«Приходит от чертога чрева Твоего Бог, якоже Царь, одетый боготканною багряницею обогрения тайного пречистых кровей Твоих, Безвестная, и царствует над землею» (Канон утра недели мясопусной, песнь 7).

«Троице Всесвятая, Единый и Трисолнечный Свете, ущедри мир» (пятн. нед. Вайй. Канон песнь 9).

Больше всего меня поражает в «Троице» Рублева это видение в центре Троицы Евхаристической чаши на трапезе Трех Странников, «трисолнечного Света». В центре этой преевечной тишины – Евхаристическая чаша: Отец указывает дланью на нее и склоняется направо к Сыну, то ли говоря ему о ней, то ли уже отпуская Его на совершение Любви. Это – видение Предвечного Света о необходимости Голгофы. Но в этой чаше уже существует

Церковь, а поэтому это есть также видение предвечного бытия Церкви. *«Се жертва тайная, совершается, се бо входит Царь Славы»*. Вот почему апостол пишет: **«Он избрал нас в Нем прежде создания мира»** (Еф. 1:4), ясно говоря этим о до-временном бытии Церкви в Агнце Божиим. Прежде создания мира очами Божиими уже видна была Церковь, а тем самым и Богоматерь. На «Благовещение» мы так и поем: *«Совет предвечный, открывая Тебе, отроковице, Гавриил предста...»*.

О Пресвятой Деве был предвечный Свет Божий. *«Через нее исполнился древний совет Божий о воплощении Слова в нашем обожении»* (св. Иоанн Дамаскин, «Слово на Рождество Богородицы»). Когда мы так говорим о Церкви, мы называем ее Софией, неизреченным Домом Премудрости Божией. Еще в Совете предвечном «Премудрость созда себе дом».

Вот почему Хомяков сказал, что Церковь – это «основное таинство мироздания». И вот почему начинают делаться нам понятными загадочные, как будто, слова св. Иринея Лионского: *«Когда Церковь в конце (истории) будет внезапно взята отсюда, то будет, – сказано, – скорбь, какой не было от начала и не будет»* (Против ересей, кн. 5).

Через таинственное соучастие в Телe Богочеловека тело всякого человека входит в лучи Вечности, становится нетленным. Догмат об истинности Боговоплощения, об истинности человеческой плоти второго Лица Святой Троицы есть утверждение целостности спасения, т. е. преображения всего человека в Бога по благодати. И этот же догмат есть основание догмата о Софии – это воплотившееся Слово Божие, Бог в твари. Божественное в тварности, это одновременно и человеческая природа Бога, и Церковь как тварное Тело Божие. Непонимание Софии есть непонимание нераздельности человеческой природы Христа от Его природы Божественной.

Я знаю современников, уверовавших, когда им было 20–25 лет. Если родители их активные атеисты, то эти молодые люди придумывают себе язвы желудка для того, чтобы как-нибудь сохранить в семье возможность поста. Эти молодые христиане входят в пустыню подвига более пустынную, чем египетская. В пустыне египетской человек мог изнемогать, но при этом он мог мыслить о каждой душе человеческой как о живой воде, как о спасительном оазисе. В пустыне великого города чуть ли не каждый человек может открыться или просто показаться горчайшей пустыней. Вот где разница прошлой эпохи с теперешней.

Господи, помоги! Господи, помоги! Люди Твои, Господи, кричат к Тебе.

Нужно знать учение отцов о том, что в то время, как всякое доброделание, например, пост, может сделаться своим и привычным для человека, – молитва всегда остается как бы непривычной. Отцы говорили, что молитва – это доброделание ангелов. Как часто убеждаешься в этой особенности молитвы, вводя себе с таким трудом на утренние молитвы, то есть на такую, казалось бы, хоженую тропу. Вот почему, учат отцы, как опасна всякая прерывность в молитве и, наоборот, благодетельно принуждение своего «правила», понимаемого как кнут. «Царство Божие нудится», т. е. силой берется, принуждением себя. Сказано так же, что Царствие Божие – в сердце. Надо взять сердце в руку, теплую, но твердую, и тогда начинает укореняться молитва.

Отец Валентин Свенцицкий учил, что непрестанную молитву не надо прекращать и во время богослужения.

Я только раз в жизни испытал радости щедрости, а ведь есть и (сейчас) люди, которые несут щедрое сердце всю свою жизнь.

Это было в Бутырской тюрьме осенью 1922 года, и это было как светлый ветер, выметавший сор души. Я готовился к этапу и раздавал, что имел, и, чем больше раздавал, тем глубже дышал воздухом свободы, в которой мы призваны быть всегда. И это время тюремного дерзания так и осталось сладчайшим временем жизни. Почему я тогда не умер?

Та простота и вера, к которой завет апостол, конечно, не есть упрощение. Это только введение всех своих мыслей и чувств в евангельское ученичество Христу. И только это может провести людей в лабиринте и в туманной современности.

О людях Христовой простоты так сказано: **«Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел... И в устах их нет лукавства»** (Откр. 14:4–5).

Подвиг жизни в христианстве не может быть каким-то посильным страданием. Но страдание в христианстве – это только неизбежность родов, процесса мучительного, но радостного по результатам. **«Жена, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир»** (Ин. 16:21).

И наше христианство проверяется этим сочетанием: рождается ли в нас уже теперь, сейчас, «этот младенец радости»? **«Ибо по мере как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше»** (2 Кор. 1:5).

Когда мы ожесточаемся и то и дело брюзжим по всякому поводу, – это очень опасный признак. Надо иметь, если не радость, то хотя бы благодушие, а если не благодушие, то хотя бы юмор к своим напастям и искушениям. В глазах Христовых наше «интеллигентское изнеможение» от жизни есть уже какой-то отказ от креста. Первую историческую Церковь Он хвалит в таких словах: **«Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал»** (Откр. 2:3).

«Прежде честнаго Твоего Креста, воинам ругающимся Тебе, Господи, умная воинства дивляхуся; обложился бо еси венцем поругания, землю живописавый цветы, багряницею поругания оделся еси, облаки одевая твердь. Таковым бо смотрением разумеся Твое благоутробие, Христе. Велия Твоя милость, слава Тебе» (Вел. Пятница. Тропарь, 3–го часа).

По апостолу, мы **«наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться»** (Рим. 8:17). «Если только». Страдание утверждается в христианстве, что оно есть «средство для великого восхождения к Богу» («Цитадель»). Хотящему быть христианином неизбежно открыть в своем сердце некую теплую боль, животворную язву: свое соучастие в жизни и страдании Христа и людей.

Вот почему ежедневно мы призываемся молиться словами: *«Любовию Твоею уязви души наши»* (6–й час). И христиане живут со своей открытой раной.

О. Александр Ельчанинов говорил: *«Смысл страданий в соучастии в страданиях Христа и в созидании Тела Христова в мире»*. Вот почему отцы домостроительство нашего спасения называли «домостроительством страдания».

В мире сейчас наблюдается одно страшное явление: этот мир все больше погружается в какую-то пучину фактического страдания и в то же самое время все больше ненавидит саму

идею страдания. Христианство предпочитает обратное этому соотношение.

Страдание в христианстве двойко. Первое – это со–страдание, т. е, любовь, почти сосуществование: человек сострадает своему распятому Богу и через него сострадает человеку и страдающей земле. Это страдание, безусловно, неизбежное, которого не может не быть в христианстве, в меру любви каждого. Второе – это условное страдание подвига. Условно оно потому, что зачастую это и не страдание вовсе, когда Господь несет наш подвиг за нас, видя стремление наше к Нему. Кроме того, святые отцы учили, что некоторые люди спасаются совсем без обычного подвига, т. е. вне второго вида страдания, только через одно свое смирение и любовь. Поэтому здесь надо помнить слова блаж. Августина: *«Где любовь, там нет страдания, а если оно есть, – его любишь»*.

«Скорбь – главная пища любви; и всякая любовь, которая не питается, хотя бы немного, чистой скорбью, умирает, подобно новорожденному, которого стали бы кормить, как взрослого. Нужно – уввы! – чтобы любовь плакала, а весьма часто именно в этот самый момент, когда поднимаются взрыды, цепи любви куются и закаливаются на всю жизнь» (Мор. Метерлинк, «Сокровище смиренных»).

О. Николай Голубцов говорил: *«Многие святые видели ангелов плачущими»*.

В трех первохристианских находится запись следующих слов Христа, не записанных в Евангелии (аграфы): *«Кто близ Меня, тот близ огня; кто далеко от Меня, тот далеко от Царства»* (Ориген. толк. на Иерем., 20, 8; Дидим, толк. на Пс. 7, 8; «Еванг. от Фомы», найден. в 1941 г.).

Христианство обжигает мысль людей страданием, но без огня не рождается Бог.

Сейчас не только мир ненавидит идею страдания, но и люди, называющие себя христианами и даже церковными деятелями. От этой ненависти питается так называемый «христианский атеизм», ложное христианство.

Догмат о человечестве Христа – это раскрытие неизреченного обнищания Бога, страдания Бога. Он также нам и необходим, как догмат о Его Божестве. Не книги об этом надо читать, а стоять в ночь на Великую Субботу и слушать «Припевы на Непорочных», когда *«дыхания моего Податель бездыханен носится»*... когда *«Троицы един во плоти ради нас претерпе смерть»*.

«Иисусе, сладкий мой и спасительный Свете, во гробе темне како скрылся еси!.. Жизнь како умираеши!»

«Жизнь во гробе положился еси, Христе, и ангельские воинства ужасахуся, снисхождение славяще Твое».

Если мы совершаем что–либо, например, постимся или богословствуем (иногда очень рьяно) вне голгофского света, то мы на данный момент находимся вне Церкви. **«Не любящий брата пребывает в смерти»** (1 Ин. 3:14), а значит, пока «не любит», он не пребывает в Церкви, так как «Церковь Бога Живаго» и смерть – несовместимы.

Митр. Антоний (Блюм) пишет: *«Где нет любви – нет и Церкви, есть только видимость, обман, который отталкивает людей. Вот почему пустыют наши храмы; отпадает молодежь... Помогите нам, Господи, стать Церковью, а не только видимостью ее»* (Слово на притчу о расслабленном).

Голгофой создана Церковь, это «цена» ее создания, и только этой ценой мы можем входить в нее.

По слову Божию, любовь противопоставляется беззаконию, угождению плоти, т. е., иначе говоря, не–святости. **«И по причине умножения беззакония, во многих охладевает любовь»** (Мф. 24: 12).

«Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Гал. 5:13).

Святость в христианстве это и есть любовь, а не–любовь – не святость.

Природа любви не постижима, как природа божественная, но одно мы знаем, что если есть гордость, то значит нет любви, что любовь есть смиренное забвение о себе, что она есть отдача себя для других: для Бога и детей Божиих.

Грех же, наоборот, есть «память о себе» и забвение других, самоутверждение и самоукорение, грубо–физическое или тонко–душевное. Поэтому все грехи есть большой или малый отказ от любви, большая или малая гордость.

«Попечение о плоти, – говорит апостол, – не превращайте в похоти» (Рим. 13:14), не самоулаждайтесь, не побеждайтесь своей самостью. Но не то же ли самое, только в душе, совершается в общении с людьми, когда вместо отдачи себя им, заботе и тревоге о них, я занят опять же собой и внутренне себя пред ними утверждаю, и, разговаривая с ними, посматриваю на себя в зеркало?

А когда я стою на молитве, то не бывает ли так, что вместо Бога я молюсь «на самого себя» – люблюсь собой и пребываю в тщеславии. Во всем этом и во множестве другого, – когда я осуждаю, обижаюсь, раздражаюсь, ненавижу, присваиваю, жадничаю, – я в основе делаю всегда одно и то же: утверждаю себя, свою грешную самость, свое «Я», вместо «не Я», вместо Бога и людей, вместо любви.

И наоборот. Перечислив многие совершенства, к которым мы призываемся (а в их лице все остальные совершенства), апостол заключает: **«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства»** (Кол. 3:14), ибо в ней совокупно существует весь путь к Богу. Она излагает гордость, отменяет самость и самоугождение – плоти и духа. Вот почему существует мрак не только разврата, но и ложной добродетели, не только безделия, но и подвига, или, как говорили святые отцы, *«лучше поражение со смирением, чем добродетель с гордостью»* («Отечник» еп. Игнатия). Вот почему истинная святость и любовь есть одно и то же. Блаженный Августин так говорил: *«Всякая добродетель есть любовь»*.

Для того, чтобы понять это опытно, некоторым нужно прожить десятки лет, слушая слова Отцов, учителей светлейшего подвига. Это корень аскетики, которая и есть – борьба за любовь в себе и в мире.

Епископ Феофан Затворник, говоря о непрестанной молитве, учил: *«Существо дела в том, чтобы приобрести навык стоять умом в сердце. Надо ум из головы свести в сердце и там его усадить, сочетать ум с сердцем»* (Добротолубие, т. 5). Иначе говоря, все дело в том, чтобы «сочетать ум» в любви. Вот в какую глубину ведут нас Отцы, в какое тепло! А мы–то, бедные, только начнем молиться, как уже «стоим умом» в тщеславии все на том же месте: в самих себя.

Макарий Великий говорил: *«Надо иметь ум пригвожденным к любви Христовой»* («Беседы и слова», стр. 288).

У святых отцов очень много сказано о том, что спасение человека от греха, или, иначе говоря, его возведение к Богу, идет через ближних, через людей, и через них же идет к нему

его духовная смерть.

Мы можем на людей злиться, перед ними гордиться, на них дышать похотью; в этом трояком зле мы умираем. И мы можем любить человека, смириться перед ним и взирать на него чистым оком. И, когда это в нас совершается, мы вдруг познаем, что каждый человек – это «нерукотворный образ», за которым стоит Сам Христос. Практика христианской жизни поэтому и сводится к тому, чтобы между мной и каждым человеком всегда стоял Христос... Надо видеть людей только через Христа.

Вот почему надо писать о любви и не-любви, о святости и не-святости. Здесь узел духовного бытия.

Но писать о любви – значит, прежде всего писать о смирении, точнее говоря, – о смирении любви, так как «любовь не ищет своего», но забывает о «своем» и отдает «свое» в смирении. Только смирение может о себе забыть. Смирение есть сама природа отдающей себя, жертвующей собою любви.

«Чтобы положить основание любви, надо начать с жертвы», – так «святоотчески» сказал военный летчик Экзюпери.

Смирение и есть «жертва»: **«Жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не унижит»** (Пс. 50).

В одном письме 1937 года о. Серафим (Батюгов) писал о смирении так: *«Смирение – это непрестанная молитва, вера, надежда и любовь трепетной души, предавшей всю жизнь Господу. Смирение есть дверь, отверзающая сердце и делающая его способным к духовным ощущениям».*

Самое, может быть, трудное в смирении, – это смиренно не требовать от других любви к себе. Наверное, можно вздохнуть об этом («Господи! – я замерзаю»), но нельзя требовать, даже внутренне. Ведь нам дана заповедь в нашей любви к людям, но заповеди о том, чтобы мы требовали любви к себе от этих людей – нам нигде не дано. Любовь и есть в том, чтобы ничего для себя не требовать. И когда это есть, тогда опускается в сердце, как солнечная птица, Божия любовь и заполняет все.

О. Валентин Свенцицкий говорил мне: «Вот мы учим о любви и смирении, а случись, что нам в автобусе наступят на ногу, и мы тотчас же этого человека ненавидим».

Смирение на словах есть порождение гордости, учили отцы. Всякий, стремящийся к христианскому мышлению, без большого труда, а иногда с каким-то большим удовольствием скажет о себе, что он «великий грешник», или на просьбу о молитве ответит по утомительному стандарту: «Моя молитва недостойная». Но попробуйте сказать о себе искренно: «Я просто нехороший человек» или я нечистый человек» – и вы поймете, как это трудно, может быть даже непосильно.

Я помню смерть матушки Смарагды. В это майское утро я шел к обедне и по дороге зашел узнать о больной. Когда я вошел на крыльцо, то увидел, что две ее келейницы стаскивают с чердака давно приготовленный гроб. «Как матушка?» – «Плохая». Я прошел в

комнату, где около постели были три женщины, наверно, самые близкие ей по духу. «Читай отходную», – сказала одна из них мне. Я начал читать вполголоса, но не прочел и страницы, как услышал уже какой-то совсем другой, задыхающийся шепот: «читай! читай!» и понял, что уже «подносится чаша»! Когда-то задолго до этого, матушка сказала: когда человек умирает, к устам его «подносится чаша». Мы еще долго стояли в тишине. Когда умирает святое сердце, это уже не скорбь, а только таинство.

Вот почему, когда через 8–9 лет после ее смерти я приехал на несколько часов в этот городок и пошел на кладбище, то, увидев среди сплошного снега, занесшего в ту зиму даже кресты, верхушку ее креста на бугре, я, к удивлению проходящего мальчишки, сошел с узкой тропинки и буквально пополз по снегу к этому еле видимому знаку, как утопающий к острову, и, подобравшись, целовал его со слезами, как целовал бы материнский крест.

В реальности Церкви, в ее духовной жизни, все такие трудные для интеллигентов и молодых христиан понятия, вроде «добродетели» или «благочестия», принимают тепло и жизнь необычайных, но понятных вещей.

О понятии «подвига» уже я говорил. Вот еще несколько трудных слов.

«Добродетель есть вещь некая горячая и zelo приличная возжечь пламень любви Божией и сотворить душу всю огненной» (преп. Никита Стифат). **«Благочестие... есть то, чтобы призирать (опекать) сирот и вдов в их скорбях и хранить себя не оскверненным от мира»** (Иак. 1:27).

«Бесстрастие есть не то, чтобы не быть бориму от бесов, но то, чтобы, когда они борют нас, пребывать неборимыми» (блаженный Диадок).

Вернувшись после ссылки в Москву в 1925 г., я был раз на литургии у о. Валентина Свенцицкого. Я пришел к ее концу, и, когда он вышел с заамвонной молитвой, меня поразило его лицо. Я иначе не могу передать моего впечатления, как сказать, что это было лицо человека, который только что принес себя в жертву, принес реально и мучительно, и вот сейчас выходит к нам, никого еще не замечая от потрясения. Я тогда понял, что такое стигматы¹⁰.

А свою глупость я проявил и здесь. Вместо того, чтобы подождать его для разговора, мне нужного, я вошел в алтарь. И вот он властно поднял руку, останавливая меня, и сказал: «Сюда могут входить только верующие в Бога. Вы в Бога веруете?» Мы не виделись три года, а он, получив обо мне неверные сведения, проверял меня, дерзнувшего войти в святая святых.

Женщина умирала в больнице, в коридоре, и все никак не могла умереть, заживо разлагалась. Родных не было, никого не было. Наконец, ночью позвала одну няню, которая ее жалела, и велела слушать ее исповедь. Исповедь была страшная, за всю жизнь, а священника нельзя было позвать. Няня исповедь приняла и утром отнесла в церковь, а к вечеру женщина умерла.

Когда я писал о Достоевском, я не заметил еще одного источника для «Карамазовых». Это *«Откровенные рассказы странника»*. Там рассказывается про одного князя, который

¹⁰ **Стигматы** – болезненные кровоточащие раны, открывающиеся на теле некоторых глубоко религиозных людей и соответствующие ранам распятого Христа.

ударил камергера, и тот на следующий день умер. Затем, через 6 недель, он стал являться князю, а также все другие обиженные им люди. Наконец, и он осознал свои беззакония, исповедался, дал свободу служившим ему людям и пошел скитаться по России нищим, служа по дороге всем бедным. Причем, «лишь только я на сие решился, – рассказывал он, – как тут же кончились беспокоившие меня видения. Я чувствовал такую отраду и сладость от примирения с Богом, что я не могу вполне сего изобразить.» Вот здесь я опытно узнал, что значит рай, и каким образом разверзается Царствие Божие внутри сердец наших». Эта запись странника, – действительный факт. А вот запись в романе Достоевского о «таинственном незнакомце», тоже убившем человека и приходившем к светскому еще Зосиме: *«Радость чувствую и мир... Разом ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было... Предчувствую Бога, сердце как в раю, веселится»* (ч. II, кн. 6, гл. 2).

«Предчувствую Бога!» – какие духовно верные слова умел находить этот удивительный человек.

Говорят, что о. Владимир Кривоуцкий, придя домой из лагеря и ожидая скорой смерти (он знал, что у него рак), сам отпел себя, т. е. совершил над собой обряд отпевания. И недавно я понял, что это как-то возможно, что человек может вдруг отойти от самого себя и, глядя на себя сбоку, горько заплакать не о «себе», а вот об этом лежащем рядом бездыханном грешнике, сделавшем так много для того, чтобы затемнить лик Спасителя.

«Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту безобразну, бесславу, не имущую вида».

Я ничего не понимаю в мировом страдании, кроме одного: в него вошел Творец мира, в него послал Он Своего Любимого Сына. Христианство учит о страдающем Боге, страдающем не по вине, а по состраданию, по любви. А если так, значит, страдание не страшно, так как его не отделишь от любви и не отделишь от Бога. *«Страдает плотию Бог...»*

Вот почему мы с дерзновением просим: *«Страданий Твоих общника мя покажи»* (Стихира на Госп. воззв. Вторн. 2-й нед. Великого Поста).

Таня – молодой искусствовед – собирала иконы. У нее стали допытываться: «Уж не верующая ли ты?» Она отвергла: «Я неверующая». Потом попала в психиатрическую больницу, и вот, лежа в инсулиновом шоке, т. е. без сознания, она громко спрашивала: «Господи, есть ли ты? Скажи мне: есть ли ты?»

То, что Флоренский как-то прислушивался к Оригену, заметили все и осудили, а вот то, что он приблизил нас к ощущению геенны, мало кто заметил. Даже если он сомневался в вечности геенны, а он не сомневался в том, что она есть, и подвел нас к ее краю, и дал заглянуть. А не заглянувши, мы ничего не поймем, и, тем более, ничего не сделаем.

Церковная статистика 1907 года: Епархий – 66, число церквей – 51.413, часовен – 20.113, библиотек при церквях – 19.659, монастырей мужских – 622, женских – 218, монашествующих мужчин – 17.583, женщин – 52.927 (вместе с послушниками в обоих

случаях) (Ист. Вестн. 1916, 10).

В 1959 году две женщины, одна из которых и сейчас еще благополучно живет, поехали к матушке Матреше. Матрешкой ее звал народ, шедший к ней во множестве за праведность, хотя монахиней она не была. Она жила в районе Куликова поля, на берегу Красивой Мечи, у стен закрытого монастыря, основанного блаж. Илларионом, русским подвижником первой половины XIX века и тоже не имевшим никакого духовного звания. Матреше в это время было уже за 80 лет. Замуж она никогда не выходила, жила с детства в бедности со своей матерью в деревне, окружающей монастырь, и в течение более чем 50 лет занималась тем, что ходила читать псалтирь по покойникам. Когда она была еще совсем молодая, вспыхнула в той местности эпидемия холеры. «Вот отчитаю я, – рассказывала она, – всю ночь по одному, по двум, приду домой, чтоб отдохнуть, а мама говорит: «Матреша, вот приходили такие–то, они совсем бедные, им нанять невозможно, уж ты пойдешь сейчас, почитай и у них». Начну возражать: «Мама, да ведь я устала!» А она скажет: «Как же быть–то, ведь они бедные. Ты уж сходи». Я вздохну, да и пойду. Однажды мне пришлось так за сутки над пятерыми читать. А у иных помещение было такое, что только гроб стоит с покойником, из которого еще что–то все течет, совсем рядом. Мне соломку постелят для стояния, а сзади мне по ногам дверь хлопает с холодным ветром. Вот, наверно, оттого у меня ноги и больные».

Жила она в наше время в старой баньке, ушедшей уже настолько в землю, что приоткрытая дверь не закрывалась, образуя некий «лаз» в метр высотой крохотного помещения, где на каких–то полатах она и лежала, не вставая от болезни уже многие годы. Последние 4–5 лет помещение зимой совсем не отапливалось, кроме только как от огня ее свечи, при свете которой она вычитывала богослужение по книгам и молилась. От проходящих к ней людей она ничего не брала, кроме вот этих свечей. Но всех она встречала с любовью, хотя иных обличала тут же, при всех, а кто не знал молитв, особенно «Верую», наделяла их списками, которые для нее готовили более грамотные ее ученицы. Покормить ее к ней приходила ее племянница, но в ее теплый дом, стоявший в этой же деревне, она отказывалась переехать, так до смерти и дожив в своей холодной избушке в постоянной молитве за людей.

Одна старая женщина недавно прислала своим близким письмо. В нем такая фраза: «Помолитесь о мне грешной, да не измет Господь души моей в день нечаяния, в день злобы».

Митр. Макарий говорил: *«Любовь в нас вложена, как зерно»* (письма С. П. 1915). Очень важно это понять. Отцы учат о том, что любовь растет, совершенствуется, но начало ее в малом зерне, так что с самого начала христианского пути она должна сошествовать с человеком, и самые «новоначальные» должны ее иметь.

«Все труды и подвиги, которые начала своего не имеют в любви с духом сокрушенным, – тщетны и бесполезны» (Преп. Симеон, Новый Богослов, вып. 2, с. 8). Не о том ли же божественном зерне сказано в притче: **«Царство Небесное подобно зерну горчичному... которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков... и прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его»** (Мф. 13:31–32).

Около святых старцев и около некоторых любящих близких мы чувствовали себя когда–то как укрывающиеся в их совершенной любви.

«...начало греха – гордость» (Книга премудрости Иисуса сына Сирахова, гл. 10, ст. 15).

«Гордость есть себя–любие, само–любие, а поэтому самоутверждение. Как любовь к Богу, созидающая град Божий, есть начален источник всех добродетелей, так себялюбие, любовь к себе, строящие Вавилонскую башню, есть источники всех грехов» (Блаж. Августин, «О Граде Божием», П. Л. 41. 43).

«Любовь есть корень, источник и мать всего доброго» (Св. Иоанн Златоуст). Все пороки исходят от гордости, а все добродетели – от смирения и любви.

Не могу удержаться, чтобы не вписать из еп. Феофана эти пять выписок:

«Лучше ничего не загадывать – ни в монастырь, ни за монастырь, ибо не в том числа: Внутренность свою надо уязвлять и тревожить, чтоб не уснуть. Во сне Самсона связали. Когда в сердце монастырь, тогда строение монастырское будь или не будь – все равно. В сердце монастырь – это Бог да душа» (еп. Феофан Затворник «Письма о христианской жизни», СПб, 1880, с. 3). (Значит и «монастырь в миру» – это «монастырь в сердце».)

«Монашество есть, с отречением от всего, непрестанное умом и сердцем пребывание в Боге.» «...Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3:3)... «Не черная ряса и клобук есть монашество, даже не жизнь в монастыре. Если бы все сие могло измениться (т. е. не стало бы ни ряс, ни монастырей), то монашество во веки пребудет, пока будет на земле человек–христианин» (Еп. Феофан Затворник, там же, ее. 16–17). «Человек создан для общения с Богом. В этом главная его цель... Самоотвержение – это только средство, а цель – пребывание в Боге» (там же, стр. 10, 207). «Церковь существует для Богообщения в Господе Иисусе Христе, и она постольку истинною является, поскольку осуществляет сие единство» (там же стр. 405–406).

«Что есть Церковь по духу своему? – Святительство свято приносить жертвы, благоприятные Богу Иисус Христом, Церковь есть лицо богослужащее, жертвующее, святительствующее непрерывно, разумно, духовно. Всякий вступающий в нее должен стать с нею единым духом, быть тем в малом, что она в большом.,» (там же стр. 324), (т. е. чтобы быть в святой Церкви, надо самому стать «малой церковью»).

Мне рассказывали, что во время наступления немцев на Москву три мальчика г. Загорска, лет 10–11, Боря, Миша, Сережа пошли под вечер 27 августа, т. е. под Успенье, в сторону Черниговской в лес за дровами. Скоро стало темнеть, и они обнаружили, что заблудились. Долго они ходили, не видя выхода. Кто–то из них сказал: «Ну что ж, надо помолиться». Это было поручено Мише: «Миша, ты помолись, ты умеешь». Миша несколько раз перекрестился. После этого они опять пошли искать дорогу, но все же не находили. И тут они увидели, что сквозь ветви уже темного леса показался мигающий огонек. «Наверно, сторож или лесник» – сказали они и пошли на огонек. На открывшейся небольшой поляне они увидели человека «в шапке, какую носят батюшки». В правой руке у него был большой крест, а в левой «что–то, чем он все время помахивал» (так они, очевидно, восприняли кадило). Тут мальчиков охватил страх, но уже другого рода. Миша оказался в середине, и они начали его толкать локтями с той же просьбой: «Молись, молись». И, как только он «замолится», человек «в шапке, как у батюшки», начал осенять крестом. И тогда они увидели светлую дорогу в направлении крестного осенения и побежали по ней. И, когда они вышли из лесу и шли по знакомому лугу, они поняли, что никакой дороги, собственно, под ними не было, а шли они по дороге света. И, подходя к своим домам, они решили: «Завтра, в шесть утра, пойдем в церковь».

Взрослые, сопоставив их рассказ с направлением этой их обратной дороги, поняли, что преподобный Осенял не только их, но и всю Лавру, свой «град», и некоторые, уже решившие

эвакуироваться, остались на месте, успокоенные в том, что город их под небесной защитой.

Небесный мир может быть лучше всего нами осознан и воспринят через призму древней иконы. Через Рафаэля или Васнецова мы не можем прикоснуться к потусторонней реальности. Для религиозного познания их живопись – это то, что в архитектуре называется «ложными окнами», сделанными для симметрии и не пропускающими свет. Икона есть попытка, отменяя соблазн телесной красоты, проникнуть в тайну Божественной красоты. Тайна слишком превышает наше естество, а поэтому путь к ней открывается, по слову апостола, через «юродство проповеди». Вот почему проповедь древней иконы **«не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы»** (1 Кор. 2:4).

Конечно, молиться вполне можно и перед новой иконой, но в какой-то час нашей духовной жизни нас начинает влечь к познанию иного мира, к тому, чтобы подойти к узкому, узорному окну древней иконы и заглянуть через него в божественный мир.

...Этап от Москвы до Новосибирска был тяжелый. Где-то на пути нас построили и повели к пересыльной тюрьме. Овчарок, кажется, не было. Мы с о. Иваном замыкали колонну, а сзади нас был только один маленького роста солдатик с добродушным лицом, но, конечно, с автоматом. И вдруг, с. Иван упал, не споткнулся, а обессилел, лежал на снегу с абсолютно белым лицом. Я подумал: это лицо святых мощей. Кое-как мы его подняли. Солдат не только затревожился из-за задержки, но и явно пожалел старика. «Вставай, отец, вставай!» Потом была в этом Новосибирске ночь под Рождество, уже по старому стилю. Мы с ним лежали рядом, и, когда, наконец, умолк, уставши, профессионал-рассказчик уголовно-похабного эпоса, и кое-где уже захрапели, тогда о. Иван начал потихоньку петь ирмосы Рождественского канона: *«Христос раждается, славите... Христос на земли, возносится!..»* – «А вот восьмой-то ирмос и забыл. Все слабеет, и голова. Не дни мои, а часы сочтены. Может ты, Сергей, помнишь?» Мне было очень неприятно, но и я не помнил. *«Чуда преестественного рододательная изобрази пеиць образ...»*

Дня через два мы расстались. Дальше на Красноярск я поехал с поминающим о. Дмитрием.

Перед тем как начать с нами обед или ужин, о. Серафим (Батюгов) сам обычно читал молитву. И после окончания сам тоже читал, причем не одну и не две, а иногда много разных молитв, и с особенной любовью, явно ведя нас туда же, после обычной человеческой еды, в какие-то сверхчеловеческие дали. Обычно эта вереница послеобеденных молитв начиналась с особенно часто им повторяемой: *«Ядят убозии, и насытятся, и восхвалят Господа взыскающие Его. Жива будут сердца их во век века».*

В связи с этим вспоминается мудрая формула аввы Силуана Афонского о норме еды: *«Есть надо столько, чтобы после еды хотелось молиться, т. е. если пища не нарушает какой-то путь молитвенной непрестанности, то она нечрезмерна».*

Однажды, когда за обеденным столом было много народа, о. Серафим рассказал некоторые случаи из своего соприкосновения с «миром духов злобы поднебесных». Кое-что мне удалось запомнить. «Пришла ко мне на квартиру одна знакомая бесноватая. Поговорив с ней немного, я встал и пошел к шкафу, где у меня стоял святой елей. Слышу, она говорит: «Князь, а он меня маслом хочет мазать».

Одна его молодая духовная дочь ему рассказывала. «Всю ночь мне снился страшный мужчина. Утром и пошла на работу и вижу, что он идет ко мне навстречу по тротуару и говорит: «Хорошо я тебя сегодня помучил?»»

Помню еще, как о. Серафим сказал: «Если правильно относиться к тому, то можно не бояться бесов». Так учили и древние Отцы.

Схиигумения Мария, о которой я уже упоминал, пошла в монастырь лет 16–ти. Отец ее был богатый купец, а матери она не помнила. Была у нее добрая и верующая по–настоящему няня. И вот отец решил, что пора ее выдавать замуж. Был назначен день, когда придет сваха с женихом, и будут «смотрины». В этот день она, печальная и о замужестве своем не думающая, должна была надеть какое–то особенное парадное платье из красного атласа. В этом платье она и сидела одна в большом двухсветном зале, ожидая гостей и жениха. Гости задержались, а она, положив руки на стол, а на руки голову, неожиданно заснула. И вот она видит, что открываются двустворчатые двери, и в комнату входит высокая Госпожа в таком сияющем одеянии, что ей стало страшно. Госпожа прямо подошла к ней, взяла ее левую руку и трижды намотала на нее четки со словами: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Девушка проснулась и бросилась к няне с рассказом о видении. Няня сразу и твердо сказала: «Никаких женихов! Пойдем наверх к себе». Там она велела повязать щеку платком, а сама пошла к отцу и объявила, что «у девочки заболели зубы». Смотрины были отменены, а вскоре отец, уstraшенный видением, сам отпустил ее в монастырь.

Я только один или два раза был у матушки Марии, уже в 50–х годах. Она так поддержала меня в это время большого моего одиночества.

Мой отец накануне принятия священства был чиновником Московского Окружного Суда и жил со своей молодой женой где–то около Сивцева Бражка. Случилось так, что их знакомая – монахиня Заиконоспасского монастыря – впала в тяжелый плотской грех, в результате чего была изгнана из монастыря, подверглась многим поношениям и лишилась всякой поддержки. Была она молодая красавица. Моя мать особенно запомнила, что волосы у нее были почти до полу. И вот приходит мой отец домой и говорит, что деваться ей некуда и что надо ей помочь. «Будешь ли ты против, – спросил он, – если мы приютим ее у себя?» – «и тут, – рассказывает мне мать, – я заплакала и бросалась ему на шею в чувстве какой–то благодарности». Так изгнанная поселилась у них и была опекаема.

Мой отец не был ни в семинарии, ни в академии, но можно сказать, что тут он сдал свой экзамен и мог ехать принимать священство. Посвящал его замечательный архиерей Алексей, архиепископ Виленский.

«Экуменическое движение по своему существу это путешествие в неизвестность». Если есть «Совет Церквей», то это означает, что в истории до сих пор еще не было никогда Церкви, т. е. зачеркивается все первохристианское созидание ее и все последующее отеческое учение о непрерывной жизни единой апостольской Церкви.

Мы можем мыслить только апостольски: **«Бог один и Церковь одна»**, идея какого–то церковного интернационализма кощунственна. Неверие в «одну Церковь» есть неверие в одну и единственную Пятидесятницу. Современный экуменизм – это еще не вселенское христианство, а только некое вселенское объединение лютеран и им сочувствующих, «панлютеранство».

«Совет Церквей» есть «Совет неверия в Церковь», или, как говорил Хомяков, «призрак

единства». Он же говорил: *«Церковь не государство, потому не может допускать условное соединение... Церковь не есть гармония разногласий... В десятке различных христианств, действующих совокупно, человечество с полным основанием опознало бы сознание бессилие и замаскированный скептицизм»* (2-й том).

Наши опасения за молодых христиан, конечно, имеют основания. Иногда они слишком слепо принимают все, что передала им наша смутная церковная эпоха, не различая внешнего от внутреннего, условного от безусловного. Иногда же они принимают христианство только как наиболее умную философскую теорию. т. е. не входят в него как в трудную жизнь Церкви.

Но не надо эти опасения преувеличивать. Мы видим и другое. Сама благодать учит и ведет людей в наши дни. Часто поражаешься, что какой-нибудь аспирант, всего только несколько лет назад узнавший и принявший христианство, понимает его и говорит о нем лучше, глубже, чем, скажем, Вл. Соловьев. Бог знает избранных Своих.

В конце этой войны 6–8 солдат шли домой из окружения к своим на восток. Шли и дорогами и целиной, чтобы не попасть к немцам. К вечеру одного дня они, совсем обессиленные, по колена в снегу, вышли на какое-то поле. «Верно, здесь нам и замерзнуть», – сказал кто-то. Вдали увидели огонек и пошли на него. Это была совсем крошечная избушка, стоящая на горке среди поля. Кто-то из них постучал и вошел: там сидел старичок, занятый подшивкой валенок. Просить не пришлось: старичок велел сейчас же входить и ночевать. Все вошли и повалились на пол: в тепло и в сон. Потом кто-то открыл глаза. Было уже утро. Все они в куче лежали не на полу, а на земле, слегка запорошенные снегом. Над ними была не крыша, а небо, и в его тишине где-то близко раздавался благовест. Это было в Западной Украине. Они вскочили и пошли на благовест. Когда они вошли в храм, кто-то из них громко сказал, указывая на икону св. Николая: «Вот и хозяин наш».

А в начале войны немцы были недалеко от Загорска. После ночной смены на заводе одна жительница этого города шла домой. Это было как раз в день преп. Сергия. Солнце только поднималось, освещая траву, цветы. Но ни цветы, ни солнце не замечались от великого страха перед приближением фронта: в доме у этой женщины были маленькие дети. И вот ее встречает незнакомая женщина, они идут вместе, и незнакомая ей говорит: «Ничего не бойтесь. Мы под защитой преподобного. Он сказал, что «град его будет во веки цел». А чтобы вам это было понятно, я расскажу В 20-х годах здесь жил Зосимовский старец о. Алексей. Здесь он и умер в конце 20-х годов. Когда начали открывать мощи, старец очень страдал об этом и много молился, недоумевая – почему Господь попускает такому делу? Однажды вечером, когда он встал на молитву, рядом с ним стал преподобный и сказал: «Молись три дня и постись, а после этого я скажу тебе то, что нужно». В следующие два дня, когда о. Алексей вставал на молитву, снова вставал с ним рядом преп. Сергий. О. Алексей эти дни питался просфорой. На третий день преподобный сказал: «Когда подвергаются такому испытанию живые люди, то необходимо, чтобы этому подвергались и останки людей умерших. Я сам отдал тело свое, дабы град мой во веки был цел». И тогда, – добавила рассказчица, – думали, что это о сыпном тифе, который в те годы свирепствовал, а вот теперь поняли, о чем он говорил».

Женщина, выслушавшая этот рассказ, пришла к своему дому, еще спящему, села на крыльцо – потрясенная и успокоенная, – и тут впервые за это утро увидела и цветы и солнце.

Проповедь в храме должна находиться в каком-то смысле слова на одном уровне с данным богослужением, чтобы то, что говорится, и то, как говорится священником, не стаскивало бы, так сказать, молящихся куда-то вниз с того уровня, на котором их духовно поставило богослужение.

Богослужение вдохновенно, а мы даже этого слова «вдохновение» боимся, ссылаясь на то, что его любил Пушкин, и оглядываемся на Типикон: есть ли оно в нем»

«И пришел он (Симеон) по вдохновению в храм» (Лк. 2:27).

В одном большом московском храме я наблюдал в праздник такое явление. Выходит священник с Чашей, возглашая «Со страхом Божиим и верою приступите». Но вместо того, чтобы начать причастие, он вдруг спускается с амвона и через громадную толпу, опасливо прося расступиться, идет с Чашей в боковой придел, где и причащает. «Тело Христово примите» здесь уже не поется: нельзя отвлекать людей от слушания проповеди. Оказывается, когда этот батюшка пошел с амвона с Чашей, из алтаря вышел другой («академик») и начал проповедовать. Перед ним вся толпа людей, а здесь, у Крови Христовой, какая-то оставленная в молчании кучка. Литургическое завершение перенесено с причастия Вечности на проповедь.

Еще в одном храме я наблюдал аналогичное явление. Был тот же праздник, было много народу, в том числе, исповедников. Вышел священник с Чашей, приглашая: «приступите», но тут же повернулся и ушел в алтарь: певчие пропели «аллилуйя», как после причастия, затем диакон прочел ектению, в которой говорится о нашей благодарности за причастие Святых Таин, хотя никто еще их не принимал.

Литургия закончилась, и тут же начался торжественный молебен. И вот, когда и он, наконец, торжественно закончился, и народ расходился, когда алтарница сердито и громко бранила за что-то на клиросе маленькую монашку, а за ящиком слышалось щелканье счетов и чей-то громкий бас сказал: «О, мы сегодня хорошо поторговали, Иван Федосеич» – тогда в этой пустыне к людям, все еще ждущим у амвона, была, наконец, вынесена Чаша. Оказывается, – «певчих нельзя задерживать причастниками».

Один верующий диакон (в другом храме) мне рассказывал, что в одном приходе, в начале его там служения он за всеобщей получал иногда в алтаре такие записки от певчих: «Не затягивайте, сегодня интересное кино».

Матушка Смарагда рассказывала: «Сидит одна женщина на базаре, торгует чем-то от своего огорода. Платок натянула совсем на глаза: во-первых, солнце печет, а во-вторых, чтобы меньше отвлекаться на окружающую суету «творит она молитву Иисусову» Сидит она, опустив глаза, молится и вдруг слышит, что подошедший нищий старик говорит ей: «А ты бы попроще: только «Господи помилуй», так-то тебе легче будет». Сказал и пошел. Видела она его в первый раз. Молитву творила, конечно, про себя: слышать он не мог. Вот какие у нас бывали и торговки, и нищие», – в заключение сказала матушка Смарагда.

Преп. Сергей был святой в XIV веке, о. Алексей Зосимовский в XX веке. В Церкви

всегда есть святые.

«Каждый из нас, – говорил Хомяков, – постоянно ищет того, чем Церковь постоянно обладает».

Святость Церкви не аллегорическая, т. к. она живет в реальных людях или для реальных людей, сколько бы их ни было, хотя бы только «два или три, собранных во имя Мое».

Но входим ли мы в это число «двух или трех»? Ищем ли мы, как надеялся Хомяков, благодати Святого Духа, воцерковляющей нас, освещающей нас, т. е. делающей нас святыми? Знаем ли мы хотя бы о том, что надо молиться о стяжании Святого Духа, то есть и своей святости?

«Утешителю, моего смысла, яко благ, скверну очистив, святости Твоя покажи (мя) исполнена».

«Святый Душе... святость всем подаждь в Тя верующим».

«Прииди к нам. Душе Святый, причастники Твоя содеявая святости, и света Невечерняго, и Божественныя жизни, и благоуханнейшего раздаяния. Ты бо река Божества, из Отца Сыном происходящий» (Канон Святому Духу, глас. 1, песни 1, 8, 6).

Недавно я видел такую молитву Святому Духу: *«Душе благий и истинный. Прииди ныне с высоты святых Твоя и вселися в ны, отыми от нас сердце каменное, и даруй нам сердце плотное, – и благодатным веянием Твоим потреби в нас тлетворные страсти, и дух правый обнови во утробах наших. Да облагодетельствованные Тобою, мы единодушно воскликнем: видехом Свет Истины, прияхом Духа Небесного. Ему же со Отцом и Сыном подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь»* (Записано на молитвослове Киево–Печерской Лавры, Киев, 1876).

Отцы учат, что в словах Книги Бытия о начале сотворения мира, когда была еще «тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою», надо видеть откровение о творческом акте Святого Духа.

Митрополит Филарет Московский пишет: *«Действие Ипостаси Святого Духа изображается (здесь) словом еврейским (таким–то), которым в другом месте (Втор. 32, 11), Моисей выражает действие птицы, гнездящейся или сидящей с распростертыми крыльями над птенцами и их согревающей»* (Записки на книгу Бытия, изд. 1876, стр. 7).

Дух Святой Своим божественным теплом выводил жизнь из «безвидности», «тьмы», и «воды». Вот где начало тепла мира? А нас хотят соблазнить дарвинизмом.

Чем ближе конец жизни, тем сильнее любовь к умершим. Не есть ли это предчувствие встречи? Чувствуешь с радостью не только их, но и обстановку, с ними связанную, какие–то вещи, старое Евангелие и кресло, тропинку в лесу, запах сена, колокольный звон. Ничто, очевидно, не умирает из того, что как–то нужно было человеку на земле, что как–то вело его к Богу.

«Все от Него, Им и к Нему». Если, как сказал Дионисий Ареопагит, – *«все вещи предсуществуют в Боге»*, то это значит, что все благое не может, и сейчас, и потом, и в будущем, не существовать в Боге. Мы все встретим, – все тепло земли, очищенное и святое, охватит нас и обнимет, и мы уже никогда не расстанемся с ним. Мы идем не к индийской

нирване ¹¹, но в Дом Божий, в котором будем искать глазами и найдем всех, кого успели полюбить на земле.

Святость есть действительность причастия Святого Духа. Поэтому весь вопрос о Церкви сводится к ее святости, – к ее наполненности Святым Духом, к наполненности людей, ее составляющих. Святым Духом.

Если Церковь не святая, она уже и не единая, и не соборная, и не апостольская.

В лице своих представителей Церковь – мы видим – теряет свою святость, и человек поэтому все меньше в нее верит, и она все меньше значит для мира. Международными религиозными съездами и их призывами к социальным реформам или действиям человека не обманешь. Слишком много он за свою горькую историю уже видел и слышал умных съездов и прекрасных программ. Человек знает, что спасти его может только Бог Своею Кровию и Своею Силою, которую, как бы в ответ на эту кровь, должны были любовью и подвигом воспринимать все люди. Поэтому так страшно оскудение святости в мире и в Церкви. Мир не хочет подвига и не хочет любви.

Когда круг будет замыкаться, на земле останутся непобежденные в своей святости «двое или трое» – Церкви Христовой, и свет их святости будет такой, какой уже невозможно будет вместить этой истории. Это и будет ее конец. Эти непобежденные «два» покажут, что Царство Божие и Воля Божия осуществились в них «и на земле, как на небе», и что все человечество могло бы стать таким же, как и они.

Матушка Смарагда была из монастыря, который в двух–трех километрах от Усмани, где мы жили. Монастырь был основан келейником св. Тихона Задонского, и в нем, по его закрытии, хранились некоторые реликвии Святого. В наше время, т. е. в XX веке, с этим монастырем были связаны два юродивых: Алексей и Христина. К юродивым особенно относится древнее определение монаха: *«Монах тот, кто, пребывая в отдельности, живет в единстве со всеми людьми»*. Можно сказать, что если не живет в этом единстве, то он и не монах. И еще было в древности сказано: *«Схимничество в том, чтобы молиться за весь мир»*. И они молились. Куда это все ушло?

Алексея, когда приходил в монастырь, на ночь помещали в «хлебную». Однажды одна монахиня рано утром решила посмотреть, что он делает, так как он долго не выходил. Уж не помер ли? Заглянула, а он стоит с воздетыми руками, молится, от пола на воздух поднятый. Она в страхе убежала. А когда днем они где–то встретились, он только погрозил ей пальцем молча. Вот такие могут и обличать мир после молитвы за него, спасая его. Что–то грозное бывает тогда в их глазах. Я видел это в 21–м году у Гаврюши в Оптиной. Что–то такое мелькало иногда и у Павла, которого я встретил в Минусинске в 47–м году.

Павел – для меня очень дорогой святой человек. Собственно, никаких типичных проявлений юродства у него не было. Просто он шел среди людей, не замечая их требования ко всем быть обычными, быть как все, не замечал, весь погруженный в ему ведомую глубину. Поэтому он мог, когда шел по улице, и ему подавали милостыню, остановиться у какого–нибудь магазина или учреждения и долго–долго молиться, очевидно, за подавшего, или, может быть, за тех, кто не подает.

Он неожиданно появился в городе, может быть, из лагеря в какой–то рваной одежде, весь запущенный, еще совсем не старый, но изможденный чем–то перенесенным.

¹¹ **Нирвана** – понятие в буддизме, обозначающее состояние освобождения от страданий.

Изможденность была явной, но в нем совсем не было угрюмости. «Не угрюмничайте», – вспомнились мне слова еп. Феофана (Затворник).

Я как-то увидел его сидящим на земле недалеко от церкви и положил ему на колени несколько яблок, а он впервые поднял на меня большие глаза и тихо с любовью сказал: «Спасибо, брат!» Потом я встретил его на базаре и спросил имя и попросил помолиться. А в последний раз я видел его в ночь на Великую Субботу в храме, когда собранные вокруг Плащаницы люди стояли со свечами и действительно провожали в смертный путь своего Спасителя. *«Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим»... «Жива будет душа моя и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне».* Он стоял немного впереди меня, без свечи, и я послал ему свою. И он обернулся вдруг, и, не поднимая опущенных глаз, твердо осенил свечой мое пространство крестообразно.

Почти 30 лет прошло, а я все еще чувствую тепло этой свечки от него ко мне.

Религиозная правда и всегда, а особенно в наше время, может иметь силу только в словах, доказанных жизнью говорящего. Если не доказал, то и не говори. Миру нужны не ораторы и не философы, а святые. *«Царство Божие, – сказано нам, – не в слове, а в силе».*

Когда мне было 20 лет, я вошел в приемную Оптинского старца Нектария, в скиту. В приемной, кроме меня, никого не было. Я ждал недолго, удивляясь какой-то неслыханной тишине этого места. Быстрой походкой вышел ко мне старец, которого я видел впервые, благословил меня и сразу, без всякой подготовки и без каких-либо обращений с моей стороны, сказал: «Есть ли у вас невеста?» И, не дожидаясь ответа, продолжал: «Поезжайте к святейшему патриарху Тихону и просите его посвятить вас. Перед вами открывается путь священника».

Я молчал, ничего подобного не ожидавший, ошеломленный.

«Не бойтесь, – сказал он, – и идите этим путем. Бог вам во всем поможет. А если не пойдете, испытаете в жизни большие страдания». Он тут же встал, благословил меня и ушел. Это был первый призыв на подвиг, и я не пошел на него.

Второй призыв к нему был еще более осязаемый, в 1939 году от другого старца, о. Серафима (Батюгова), который, кстати сказать, одевал о. Нектария в схиму... О. Серафим уже не говорил о священстве, он говорил только о твердой жизни и вере, и около этого старца я не чувствовал смущения, но чувствовал силу и решимость. Помню, я написал о себе стихи, и он их настолько одобрил, что даже переписал и кому-то давал.

Будет время и я замолчу,
И стихи мои будут ненужны.
Я зажгу золотую свечу,
Начиная полночную службу.
Будет ночь, как всегда, велика,
Будет сердце по-прежнему биться,
Только тверже откроет рука
За страницей другую страницу.
И, начавши последний канон,
Я открою окно над полями,
И услышу, как где-то над нами
Начинается утренний звон.

И все-таки я не пошел на призыв. Стихи остались стихами, и чтение канона не началось, и сбылось слово старца Нектария о страданиях. И вот мне теперь хочется просить у всех прощения, всем поклониться. Тяжкую вину несет всякий, кто, получив знание и Света и Тьмы, не определяет себя к Свету. Достоевский сказал где-то: *«Каждый из нас мог бы*

светить, как «Единый безгрешный», – и не светил!»

И мне ясно, что в каком-то смысле я умираю в бесплодии. Это я ощущаю не как самоуничтожение, а как характеристику.

Больше того: это как-то уживается во мне с надеждой на прощение и благодарностью за жизнь.

Да! Иногда неудержимая благодарность наполняет сердце за жизнь, за эту Землю, – «подножие ног Его», за каждую улыбку, встреченную где-нибудь на улице.

Идешь иногда в магазин и, точно после причастия, шепчешь: «Слава Тебе, Боже, Слава Тебе, Боже».

Мы видели много зла в мире и в церковной ограде, а еще больше в самих себе. Но вот почему-то в душе остаются одна благодарность и одна надежда. Наверно, потому, что Господь Бог наш «все покрывает, всему верит, всего надеется», и наше воздыхание о правде, может быть, принимает за самую правду. Такова Его милость! Как говорил Макарий Великий, *«душа присозидается к Церкви не потому, что сделала, а потому, что возжелала»*. Господи! Пусть будет так?

И еще есть одно слово утешения, слово обетования.

В том же воспоминании о моем отце его духовной дочери (написанном в виде письма) есть такие строки:

«Хочется написать о его последней проповеди. Он говорил о Божией Матери, говорил весь светящийся радостью и победой, а окончил словами Дмитрия Ростовского: «Радуйтесь, грешники! – праведников поведет в рай апостол Петр, а грешников – Сама Божия Матерь». Это ношу в сердце (пишет эта духовная дочь), когда не мертвая моя душа, на этой радости кончаю, мои любимые, эти воспоминания».

«Архиепископ Русской Православной Церкви Василий Брюссельский, характеризуя суть модернистского течения, развивающегося в англиканской Церкви, назвал его *«христианским атеизмом»*, так как эта обновляющая религия отрицает, по словам архиепископа, «самые основы христианского вероучения – веру в личного Бога, Творца и Промыслителя, веру в Божество Христа, в Его воскресение и будущую жизнь» (*«Известия»*, 26 июня 1969 г., № 114).

Основа «христианского атеизма» – неверие в христианство как в чудо, перемещение его с пути в Вечность на дорогу земного благоустройства. Легче всего заменить путь на Фавор, путь благодатного преображения естества человека в его божественное сверхъестество – заботами о земных болезнях человечества, а Голгофу Христову – общественной или научной работой. Но это будет уже не христианство, а неверие в него.

Но только ли дело в англиканстве? Там, может быть, не побоятся как-то открыто сомневаться в догмах, но ведь можно в них открыто не сомневаться, а внутренне им совсем не верить и не жить догмами. Догмат о воскресении мертвого тела Христа только тогда делается для человека догматом, когда он – этот человек – сам начинает приобщаться, через свою голгофу к Христову воскресению, когда он сам умирает и сам воскресает. Когда же внутри – неверие в догматы, тогда не начинается ли «христианский атеизм» еще и при наличии догматической внешности? Не есть ли христианский атеизм всего лишь последняя стадия древнего общецерковного обмирщения?

Сторонники этого лжехристианства свысока называют христиан, верующих по-прежнему, т. е. так, как, скажем, верили апостолы, – «традиционалистами, сторонниками архаического христианства». Когда я прочел об этом, горько стало мне на душе: «Зачем, – подумал я, – Господи, так долго я живу?» И тут почему-то вспомнилось мне стихотворение Пастернака о его предчувствии преображения и того, как на его похороны шли друзья по лесу.

Вы шли толпою, врозь и парами,
 Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
 Шестое августа по-старому –
 Преображение Господне.
 Обыкновенно свет без пламени
 Исходит в этот день с Фавора
 И осень, ясная как знаменье,
 К себе приковывает взоры,

Я пришел проститься с о. Серафимом (Батюговым) в последний день его жизни: 19 февраля 1942 года. Это было часа за 4 до его смерти. Он уже давно сказал близким, что умирает. Его лицо было покрыто какой-то легкой церковной тканью: наверно, последний вожделенный «затвор» перед переходом. Ведь при жизни настоящего затвора ему, всегда окруженному духовными детьми, так и не удалось осуществить. А может быть, нам нельзя было видеть, как уже просветляется в эти часы его лицо?

Одна из присутствующих у его постели сказала: «Батюшка, Сергей Иосифович пришел проститься». И тогда глухо, точно не из-под покрывала, а из глубины каких-то уже не наших миров, донеслось до меня его знакомое ласковое приветствие: «Пресвятая Богородице, спаси нас». И еще раз чуть громче. Этой молитвой он обычно встречал своих духовных детей и говорил не «спаси», но «спасай», точно выражая мольбу о многократности спасения. Потом было долгое молчание. Я видел, что из комода уже вынута земля, привезенная из Дивеева, лопатка благословенной земли, по которой ходили верные ученики Преподобного, – чтобы положить ее в тоже уже давно приготовленный и стоящий в доме гроб. *«Верую видеть благая Господня на земле живых».*

Когда я собрался уходить, ему опять об этом сказали, я услышал еще раз напряженный и теперь уже еле слышный голос: «Идите с Богом. Всем благословение Божие».

И я так бы хотел иметь духовные силы, чтобы передать от него это благословение тем, кто, может быть, никогда не видел святых. Ведь мы, старые и, несомненно, как сказано, «боязливые и неверные», только для того, наверно, еще не лишены совсем разума и сердца, чтобы совершать передачу этого единственного своего сокровища – благословения святых, тех святых, через которых и мы увидели край лазури Вечности: Церковь Агнца. Знание этого сокровища определяет наш заканчивающийся путь даже и в том, что при всем ужасе ощущения церковного двойника, дает нам осуждать тех, кто с этим двойником так или иначе сливается: ведь они никогда, наверно, в своей жизни не знали людей, которых знали мы, никто не показал им в живом дыхании, что такое Святая Церковь, никто не прижимал их голову к своей груди, на которой холодок старенькой епитрахили, никто не говорил им: «чадо мое родное», – этих огнеобразных слов, от которых тает все неверие и, что еще удивительнее, – все грехи.

Святое сердце этих людей – это и есть Дом Божий, обитель Божия, по сказанному: *«Мы придем к нему и обитель у него сотворим».* Это и есть Церковь, и мы можем стоять у ее пречистых стен.

Очень нужно понять, что христианское отречение от мира не только не есть отречение от любви к миру, но, наоборот, – ее первое истинное утверждение. Я сознательно сказал «к миру», хотя можно было бы сказать «к людям», и тогда никто не был бы смущен и не привел бы мне текст апостола: «не любите мира». Этот текст помнят, не понимая его, а другой текст и не помнят, и не понимают: **«Бог возлюбил мир»**. Бог возлюбил, а вот мы не любим, а потому и не хотим соучаствовать в том, о чем говорится дальше в этом тексте: **«Ибо так возлюбил Бог мир, Что отдал Сына Своего»** (Ин. 3:16).

А мы только судим мир с полным сознанием своего судейского права, хотя опять же в этом тексте сказано, что «не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него». А как мы можем, не имея любви, отдавать себя за людей? Только святость любви может восходить на Голгофу.

Не любить мир означает не любить, прежде всего, самого себя, свою темноту и грех, это означает, прежде всего, осознать самого себя, как этот самый мир, не любящий и темный. И тогда в такой нелюбви к миру в человеке начинает восходить заря любви к людям, великого сострадания к миру.

Только в этом свете понятен пост. Пост – начало преодоления «слишком человеческого», начало одоления ограниченности естества для введения его в безграничность, для его благоухания Вечностью.

К сожалению, и это наследство уходящей церковной эпохи мы передаем молодым христианам в каком-то искажении или непонимании.

Св. Максим Исповедник учил: *«Всякий подвижнический труд, чуждый любви, негоден Богу»*. А это был самый распространенный факт: пост совершался в гордости о своем подвиге, т. е. вне любви, а потому так часто приводил нас не к уменьшению, а к еще большему увеличению холода и ненависти в мире.

Все в христианстве определяется и проверяется любовью.